

АЛЕКСАНДР ГРИН

АЛЫЕ ПАРУСА.
БЛИСТАЮЩИЙ МИР.
ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ
(СБОРНИК)

Шедевры мировой литературы (Мир книги, Литература)

Александр Грин

**Алые паруса. Блестящий
мир. Золотая цепь (сборник)**

«Public Domain»

1923, 1925

УДК 821.161.1Р
ББК 84(2Рос=Рус)

Грин А. С.

Алые паруса. Блещающий мир. Золотая цепь (сборник) /
А. С. Грин — «Public Domain», 1923, 1925 — (Шедевры мировой
литературы (Мир книги, Литература))

ISBN 978-5-486-03729-0

Александр Грин (наст. имя и фамилия Александр Степанович Гриневский; 1880–1932) – известный русский писатель-романтик, фантаст, превосходный пейзажист и тонкий психолог. Лирико-эмоциональный настрой его прозы подчинен не только законам авантюрного жанра, но и утверждению вечных человеческих ценностей: добра, чести, справедливости. В данном томе представлены три произведения Грина. Знаменитая повесть-феерия «Алые паруса», ставшая символом воплощенной мечты о счастье, дарит надежду на «обыкновенное чудо», которое все-таки случается в сплошной череде похожих друг на друга дней, составляющих тонкую нить нашей жизни. В романе «Блещающий мир» рассказывается о Друде – человеке, наделенном чудесным даром полета, подобного полету во сне, и о преследованиях его со стороны бездушных богачей, правящих миром. Роман «Золотая цепь» отличается богатым приключениями сюжетом, яркие романтические характеры героев. Как всегда у Грина, здесь сталкиваются прагматизм жизни с ее романтической альтернативой. И как всегда победа, пусть даже моральная, остается за романтикой.

УДК 821.161.1Р
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-486-03729-0

© Грин А. С., 1923, 1925
© Public Domain, 1923, 1925

Содержание

Алые паруса	7
Глава I	7
Глава II	16
Глава III	24
Глава IV	30
Глава V	35
Глава VI	41
Глава VII	43
Блестающий мир	47
Часть I	47
Глава I	47
Глава II	49
Глава III	49
Глава IV	50
Глава V	52
Глава VI	55
Глава VII	56
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Александр Грин
Алые паруса. Блстающий
мир. Золотая цепь (сборник)

© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2010

© ООО «РИЦ Литература», состав, комментарии, 2010

* * *

Алые паруса

*Нине Николаевне Грин
подносит и посвящает*

*Автор
ПБГ, 23 ноября 1922 г.*

Глава I Предсказание

{1}

Лонгрэн, матрос «Ориона», крепкого трехсоттонного брига^[2], на котором он прослужил десять лет и к которому был привязан сильнее, чем иной сын к родной матери, должен был наконец покинуть службу.

Это произошло так. В одно из его редких возвращений домой он не увидел, как всегда еще издали, на пороге дома свою жену Мери, всплескивающую руками, а затем бегущую навстречу до потери дыхания. Вместо нее у детской кровати – нового предмета в маленьком доме Лонгрена – стояла взволнованная соседка.

– Три месяца я ходила за нею, старик, – сказала она, – посмотри на свою дочь.

Мертвея, Лонгрэн наклонился и увидел восьмимесячное существо, сосредоточенно взиравшее на его длинную бороду, затем сел, потупился и стал крутить ус. Ус был мокрый, как от дождя.

– Когда умерла Мери? – спросил он.

Женщина рассказала печальную историю, перебивая рассказ умильным гульканием девочке и уверениями, что Мери в раю. Когда Лонгрэн узнал подробности, рай показался ему немного светлее дровяного сарая, и он подумал, что огонь простой лампы – будь теперь они вместе, вдвоем – был бы для ушедшей в неведомую страну женщины незаменимой отрадой.

Месяца три назад хозяйственные дела молодой матери были совсем плохи. Из денег, оставленных Лонгреном, добрая половина ушла на лечение после трудных родов, на заботы о здоровье новорожденной; наконец, потеря небольшой, но необходимой для жизни суммы заставила Мери попросить в долг денег у Меннерса. Меннерс держал трактир, лавку и считался состоятельным человеком.

Мери пошла к нему в шесть часов вечера. Около семи рассказчица встретила ее на дороге к Лиссу. Заплаканная и расстроенная Мери сказала, что идет в город заложить обручальное кольцо. Она прибавила, что Меннерс соглашался дать денег, но требовал за это любви. Мери ничего не добилась.

– У нас в доме нет даже крошки съестного, – сказала она соседке. – Я схожу в город, и мы с девочкой переберемся как-нибудь до возвращения мужа.

В этот вечер была холодная, ветреная погода; рассказчица напрасно уговаривала молодую женщину не ходить в Лисс к ночи. «Ты промокнешь, Мери, накрапывает дождь, а ветер, того и гляди, принесет ливень».

Взад и вперед от приморской деревни в город составляло не менее трех часов скорой ходьбы, но Мери не послушалась советов рассказчицы. «Довольно мне колоть вам глаза, –

[1] Роман впервые издан отдельной книгой в издательстве Л. Д. Френкель, М.-Пг., 1923.

[2] Бриг – двухмачтовый корабль с прямыми парусами; *трехсоттонный* – водоизмещением триста тонн, т. е. плавающим судном вытесняется триста тонн воды.

сказала она, – и так уж нет почти ни одной семьи, где я не взяла бы в долг хлеба, чаю или муки. Заложу колечко, и кончено». Она сходила, вернулась, а на другой день слегла в жару и бреду; непогода и вечерняя изморось сразили ее двусторонним воспалением легких, как сказал городской врач, вызванный добросердной рассказчицей. Через неделю на двуспальной кровати Лонгрена осталось пустое место, а соседка переселилась в его дом нянчить и кормить девочку. Ей, одинокой вдове, это было не трудно. К тому же, прибавила она, без такого несмышлениша скучно.

Лонгрэн поехал в город, взял расчет, простился с товарищами и стал растить маленькую Ассоль. Пока девочка не научилась твердо ходить, вдова жила у матроса, заменяя сиротке мать, но лишь только Ассоль перестала падать, заноса ножку через порог, Лонгрэн решительно объявил, что теперь он будет сам все делать для девочки, и, поблагодарив вдову за деятельное сочувствие, зажил одинокой жизнью вдовца, сосредоточив все помыслы, надежды, любовь и воспоминания на маленьком существе.

Десять лет скитальческой жизни оставили в его руках очень немного денег. Он стал работать. Скоро в городских магазинах появились его игрушки – искусно сделанные маленькие модели лодок, катеров, однопалубных и двухпалубных парусников, крейсеров, пароходов – словом, того, что он близко знал, что, в силу характера работы, отчасти заменяло ему грохот портовой жизни и живописный труд плаваний. Этим способом Лонгрэн добывал столько, чтобы жить в рамках умеренной экономии. Малообщительный по натуре, он после смерти жены стал еще замкнутее и нелюдимее. По праздникам его иногда видели в трактире, но он никогда не присаживался, а торопливо выпивал за стойкой стакан водки и уходил, коротко бросая по сторонам: «Да», «Нет», «Здравствуйте», «Прощай», «Помаленьку» – на все обращения и кивки соседей. Гостей он не выносил, тихо спроваживая их не силой, но такими намеками и вымышленными обстоятельствами, что посетителю не оставалось ничего иного, как выдумать причину, не позволяющую сидеть дольше.

Сам он тоже не посещал никого; таким образом меж ним и земляками легло холодное отчуждение, и будь работа Лонгрена – игрушки – менее независима от дел деревни, ему пришлось бы ощутительнее испытать на себе последствия таких отношений. Товары и съестные припасы он закупал в городе – Меннерс не мог бы похвастаться даже коробкой спичек, купленной у него Лонгреном. Он делал также сам всю домашнюю работу и терпеливо проходил несвойственное мужчине сложное искусство рращения девочки.

Ассоль было уже пять лет, и отец начинал все мягче и мягче улыбаться, поглядывая на ее нервное, доброе личико, когда, сидя у него на коленях, она трудилась над тайной застегнутого жилета или забавно напевала матросские песни – дикие ревестишия. В передаче детским голосом и не везде с буквой «р» эти песенки производили впечатление танцующего медведя, украшенного голубой ленточкой. В это время произошло событие, тень которого, павшая на отца, укрыла и дочь.

Была весна, ранняя и суровая, как зима, но в другом роде. Недели на три припал к холодной земле резкий береговой норд.

Рыбачьи лодки, повидавшие на берег, образовали на белом песке длинный ряд темных килей^[3], напоминающих хребты громадных рыб. Никто не отваживался заняться промыслом в такую погоду. На единственной улице деревушки редко можно было увидеть человека, покинувшего дом; холодный вихрь, несшийся с береговых холмов в пустоту горизонта, делал «открытый воздух» суровой пыткой. Все трубы Каперны дымились с утра до вечера, трепля дым по крутым крышам.

Но эти дни норда выманивали Лонгрена из его маленького теплого дома чаще, чем солнце, забрасывающее в ясную погоду море и Каперну покрывалами воздушного золота. Лон-

^[3] Киль – основная продольная днищевая связь на судне, идущая от носовой до кормовой его оконечности.

грен выходил на мостик, насланный по длинным рядам свай, где на самом конце этого дощатого мола подолгу курил раздуваемую ветром трубку, смотря, как обнаженное у берегов дно дымилось седой пеной, еле поспевающей за валами, грохочущий бег которых к черному, штормовому горизонту наполнял пространство стадами фантастических гривастых существ, несущихся в разнузданном свирепом отчаянии к далекому утешению. Стоны и шумы, завывающая пальба огромных взлетов воды и, казалось, видимая струя ветра, полосующего окрестность – так силен был его ровный пробег, – давали измученной душе Лонгрена ту притупленность, оглушенность, которая, низводя горе к смутной печали, равна действием глубокому сну.

В один из таких дней двенадцатилетний сын Меннерса, Хин, заметив, что отцовская лодка бьется под мостками о сваи, ломая борта, пошел и сказал об этом отцу. Шторм начался недавно; Меннерс забыл вывести лодку на песок. Он немедленно отправился к воде, где увидел на конце мола спиной к нему стоявшего, куря, Лонгрена. На берегу, кроме их двух, никого более не было. Меннерс прошел по мосткам до середины, спустился в бешено плещущую воду и отвязал шкот^[4]; стоя в лодке, он стал пробираться к берегу, хватаясь руками за сваи. Весла он не взял, и в тот момент, когда, пошатнувшись, упустил схватиться за очередную сваю, сильный удар ветра швырнул нос лодки от мостков в сторону океана. Теперь даже всей длиной тела Меннерс не мог бы достичь самой ближайшей сваи. Ветер и волны, раскачивая, несли лодку в гибельный простор. Сознав положение, Меннерс хотел броситься в воду, чтобы плыть к берегу, но решение его запоздало, так как лодка вертелась уже недалеко от конца мола, где значительная глубина воды и ярость валов обещали верную смерть. Меж Лонгренем и Меннерсом, увлекаемым в штормовую даль, было не больше десяти сажень^[5] еще спасительного расстояния, так как на мостках под рукой у Лонгрена висел сверток каната с вплетенным в один его конец грузом. Канат этот висел на случай причала в бурную погоду и бросался с мостков.

– Лонгрен! – закричал смертельно перепуганный Меннерс. – Что же ты стал как пень? Видишь, меня уносит – брось причал!

Лонгрен молчал, спокойно смотря на метавшегося в лодке Меннерса, только его трубка задымила сильнее, и он, помедлив, вынул ее изо рта, чтобы лучше видеть происходящее.

– Лонгрен! – взывал Меннерс. – Ты ведь слышишь меня, я погибаю, спаси!

Но Лонгрен не сказал ему ни одного слова; казалось, он не слышал отчаянного вопля. Пока не отнесло лодку так далеко, что еле долетали слова-крики Меннерса, он не переступил даже с ноги на ногу. Меннерс рыдал от ужаса, заклинал матроса бежать к рыбакам, позвать помощь, обещал деньги, угрожал и сыпал проклятиями, но Лонгрен только подошел ближе к самому краю мола, чтобы не сразу потерять из вида метания и скачки лодки. «Лонгрен, – донеслось к нему глухо, как с крыши – сидящему внутри дома, – спаси!» Тогда, набрав воздуха и глубоко вздохнув, чтобы не потерялось в ветре ни одного слова, Лонгрен крикнул:

– Она так же просила тебя! Думай об этом, пока еще жив, Меннерс, и не забудь!

Тогда крики умолкли, и Лонгрен пошел домой. Ассоль, проснувшись, увидела, что отец сидит пред угасающей лампой в глубокой задумчивости. Услышав голос девочки, звавшей его, он подошел к ней, крепко поцеловал и прикрыл сбившимся одеялом.

– Спи, милая, – сказал он, – до утра еще далеко.

– Что ты делаешь?

– Черную игрушку я сделал, Ассоль, – спи!

На другой день только и разговоров было у жителей Каперны, что о пропавшем Меннерсе, а на шестой день привезли его самого, умирающего и злобного. Его рассказ быстро облетел окрестные деревушки. До вечера носило Меннерса; разбитый сотрясениями о борта и

^[4] Шкот – снасть для натягивания нижнего угла паруса, для управления парусом.

^[5] Десять сажень – более двадцати одного метра; сажень – русская мера длины, равная 2, 1336 м.

дно лодки за время страшной борьбы с свирепостью волн, грозивших, не уставая, выбросить в море обезумевшего лавочника, он был подобран пароходом «Лукреция», шедшим в Кассет. Простуда и потрясение ужаса прикончили дни Меннерса. Он прожил немного менее сорока восьми часов, призывая на Лонгрена все бедствия, возможные на земле и в воображении. Рассказ Меннерса, как матрос следил за его гибелью, отказав в помощи, красноречивый тем более, что умирающий дышал с трудом и стонал, поразил жителей Каперны. Не говоря уже о том, что редкий из них способен был помнить оскорбление и более тяжкое, чем перенесенное Лонгрен-ном, и горевать так сильно, как горевал он до конца жизни о Мери, – им было отвратительно, непонятно, поражало их, что Лонгрен *молчал*. *Молча*, до своих последних слов, посланных вдогонку Меннерсу, Лонгрен *стоял*; стоял неподвижно, строго и тихо, как *судья*; выказав глубокое презрение к Меннерсу – большее, чем ненависть, было в его молчании, и это все чувствовали. Если бы он кричал, выражая жестами или суетливостью злорадство или еще чем иным свое торжество при виде отчаяния Меннерса, рыбаки поняли бы его, но он поступил иначе, чем поступали они, – поступил внушительно, непонятно и этим поставил себя выше других, словом, сделал то, чего не прощают. Никто более не кланялся ему, не протягивал руки, не бросал узнающего, здоровающегося взгляда. Совершенно навсегда остался он в стороне от деревенских дел; мальчишки, заведя его, кричали вдогонку: «Лонгрен утопил Меннерса!» Он не обращал на это внимания. Так же, казалось, он не замечал и того, что в трактире или на берегу, среди лодок, рыбаки умолкали в его присутствии, отходя в сторону, как от зачумленного. Случай с Меннерсом закрепил ранее неполное отчуждение. Став полным, оно вызвало прочную взаимную ненависть, тень которой пала и на Ассоль.

Девочка росла без подруг. Два-три десятка детей ее возраста, живших в Каперне, пропитанной, как губка водой, грубым семейным началом, основой которого служил непоколебимый авторитет матери и отца, переимчивые, как все дети в мире, вычеркнули раз навсегда маленькую Ассоль из сферы своего покровительства и внимания. Совершилось это, разумеется, постепенно, путем внушения и окриков взрослых приобрело характер страшного запрета, а затем, усиленное пересудами и кривотолками, разрослось в детских умах страхом к дому матроса.

К тому же замкнутый образ жизни Лонгрена освободил теперь истерический язык сплетни; про матроса говаривали, что он где-то кого-то убил, оттого, мол, его больше не берут служить на суда, а сам он мрачен и нелюдим, потому что «терзается угрызениями преступной совести». Играя, дети гнали Ассоль, если она приближалась к ним, швыряли грязью и дразнили тем, что будто отец ее ел человеческое мясо, а теперь делает фальшивые деньги. Одна за другой наивные ее попытки к сближению оканчивались горьким плачем, синяками, царапинами и другими проявлениями *общественного мнения*; она перестала наконец оскорбляться, но все еще иногда спрашивала отца: «Скажи, почему нас не любят?» – «Э, Ассоль, – говорил Лонгрен, – разве они умеют любить? Надо уметь любить, а этого-то они не могут». – «Как это – уметь?» – «А вот так!» Он брал девочку на руки и крепко целовал грустные глаза, жмурившиеся от нежного удовольствия.

Любимым развлечением Ассоль было по вечерам или в праздник, когда отец, оставив банки с клейстером, инструменты и неоконченную работу, садился, сняв передник, отдохнуть, с трубкой в зубах, забраться к нему на колени и, вертясь в бережном кольце отцовской руки, трогать различные части игрушек, расспрашивая об их назначении. Так начиналась своеобразная фантастическая лекция о жизни и людях – лекция, в которой благодаря прежнему образу жизни Лонгрена, случайностям, случаю вообще – диковинным, поразительным и необыкновенным событиям отводилось главное место. Лонгрен, называя девочке имена снастей, парусов, предметов морского обихода, постепенно увлекался, переходя от объяснений к различ-

ным эпизодам, в которых играли роль то брашпиль^[6], то рулевое колесо, то мачта или какой-нибудь тип лодки и т. п., а от отдельных иллюстраций этих переходил к широким картинам морских скитаний, вплетая суеверия в действительность, а действительность – в образы своей фантазии. Тут появлялась и *тигровая кошка*, вестница кораблекрушения, и говорящая летучая рыба, не послушаться приказаний которой значило сбиться с курса, и Летучий Голландец^[7] с неистовым своим экипажем; приметы, привидения, русалки, пираты – словом, все басни, коротающие досуг моряка в штиле или излюбленном кабаке. Рассказывал Лонгрен также о потерпевших крушение, об одичавших и разучившихся говорить людях, о таинственных кладах, бунтах каторжников и многом другом, что выслушивалось девочкой внимательнее, чем, может быть, слушался в первый раз рассказ Колумба о новом материке. «Ну, говори еще», – просила Ассоль, когда Лонгрен, задумавшись, умолкал, и засыпала на его груди с головой, полной чудесных снов.

Также служило ей большим, всегда материально существенным удовольствием появление приказчика городской игрушечной лавки, охотно покупавшей работу Лонгрена. Чтобы задобрить отца и выторговать лишнее, приказчик захватывал с собой для девочки пару яблок, сладкий пирожок, горсть орехов. Лонгрен обыкновенно просил настоящую стоимость из нелюбви к торгу, а приказчик сбавлял. «Эх вы, – говорил Лонгрен, – да я неделю сидел над этим ботом». – Бот был пятивершковый^[8]. – «Посмотри, что за прочность, – а осадка^[9], а доброта? Бот этот пятнадцать человек выдержит в любую погоду». Кончалось тем, что тихая возня девочки, мурлыкавшей над своим яблоком, лишала Лонгрена стойкости и охоты спорить; он уступал, а приказчик, набив корзину превосходными, прочными игрушками, уходил, посмеиваясь в усы.

Всю домовую работу Лонгрен исполнял сам: колол дрова, носил воду, топил печь, стряпал, стирал, гладил белье и, кроме всего этого, успевал работать для денег. Когда Ассоль исполнилось восемь лет, отец выучил ее читать и писать. Он стал изредка брать ее с собой в город, а затем посылать даже одну, если была надобность перехватить денег в магазине или снести товар. Это случалось не часто; хотя Лисс лежал всего в четырех верстах^[10] от Каперны, но дорога к нему шла лесом, а в лесу многое может напугать детей, помимо физической опасности, которую, правда, трудно встретить на таком близком расстоянии от города, но все-таки не мешает иметь в виду. Поэтому только в хорошие дни, утром, когда окружающая дорогу чаща полна солнечным ливнем, цветами и тишиной, так что впечатлительности Ассоль не грозили фантомы воображения, Лонгрен отпускал ее в город.

Однажды, в середине такого путешествия к городу, девочка присела у дороги съесть кусок пирога, положенного в корзинку на завтрак. Закусывая, она перебирала игрушки; из них две-три оказались новинкой для нее: Лонгрен сделал их ночью. Одна такая новинка была миниатюрной гоночной яхтой; белое суденышко это несло алые паруса, сделанные из обрезков шелка, употреблявшегося Лонгреном для оклейки пароводных кают – игрушек богатого покупателя. Здесь, видимо, сделав яхту, он не нашел подходящего материала на паруса, употребив что было – лоскутки алого шелка. Ассоль пришла в восхищение. Пламенный веселый цвет так ярко горел в ее руке, как будто она держала огонь. Дорогу пересекал ручей с перебро-

^[6] *Брашпиль* – лебедка для выбирания якоря на судне.

^[7] *Летучий Голландец* – легендарный корабль-призрак; согласно легенде, в 1641 г. голландский корабль пытался в шторм обогнуть мыс Доброй Надежды. Когда штурман предложил переждать шторм в бухте, капитан застрелил его и нескольких недовольных матросов и поклялся, что никто не сойдет на берег, пока они не обогнут мыс, даже если на это уйдет вечность. За богохульство капитан и корабль были прокляты и обречены вечно скитаться, не имея возможности пристать к берегу. Увидеть Летучий Голландец считается дурной приметой.

^[8] *Пятивершковый* – размером более двадцати двух сантиметров; вершок – русская мера длины, равная 4,45 см.

^[9] *Осадка судна* – расстояние по вертикали от ватерлинии (линии соприкосновения спокойной поверхности воды с корпусом плавающего судна) до нижней точки корпуса.

^[10] *Четыре версты* – четыре с четвертью километра; верста – русская мера длины, равная пятистам сажням (1,0668 км).

шенным через него жердяным мостиком; ручей справа и слева уходил в лес. «Если я спущу ее на воду поплавать немного, – размышляла Ассоль, – она ведь не промокает, я ее потом вытру». Отойдя в лес за мостик, по течению ручья, девочка осторожно спустила на воду у самого берега пленившее ее судно; паруса тотчас сверкнули алым отражением в прозрачной воде: свет, пронизывая материю, лег дрожащим розовым излучением на белых камнях дна. «Ты откуда приехал, капитан?» – важно спросила Ассоль воображенное лицо и, отвечая сама себе, сказала: «Я приехал... приехал... приехал я из Китая». – «А что ты привез?» – «Что привез, о том не скажу». – «Ах ты так, капитан! Ну, тогда я тебя посажу обратно в корзину». Только что капитан приготовился смиренно ответить, что он пошутил и что готов показать слона, как вдруг тихий отбег береговой струи повернул яхту носом к середине ручья, и, как настоящая, полным ходом покинув берег, она ровно поплыла вниз. Мгновенно изменился масштаб видимого: ручей казался девочке огромной рекой, а яхта – далеким, большим судном, к которому, едва не падая в воду, испуганная и оторопевшая, протягивала она руки. «Капитан испугался», – подумала она и побежала за уплывающей игрушкой, надеясь, что ее где-нибудь прильет к берегу. Поспешно таща не тяжелую, но мешающую корзинку, Ассоль твердила: «Ах, господи! Ведь случись же...» Она старалась не терять из виду красивый, плавно убегающий треугольник парусов, спотыкалась, падала и снова бежала.

Ассоль никогда не бывала так глубоко в лесу, как теперь. Ей, поглощенной нетерпеливым желанием поймать игрушку, не смотрелось по сторонам; возле берега, где она суежилась, было довольно препятствий, занимавших внимание. Мшистые стволы упавших деревьев, ямы, высокий папоротник, шиповник, жасмин и орешник мешали ей на каждом шагу: одолевая их, она постепенно теряла силы, останавливаясь все чаще и чаще, чтобы передохнуть или смахнуть с лица липкую паутину. Когда потянулись, в более широких местах, осоковые и тростниковые заросли, Ассоль совсем было потеряла из виду алое сверкание парусов, но, обежав излучину течения, снова увидела их, степенно и неуклонно бегущих прочь. Раз она оглянулась, и лесная громада, с ее пестротой, переходящей от дымных столбов света в листве к темным расселинам дремучего сумрака, глубоко поразила девочку. На мгновение оробев, она вспомнила вновь об игрушке и, несколько раз выпустив глубокое «ф-фу-у-у», побежала изо всех сил.

В такой безуспешной и тревожной погоне прошло около часу, когда с удивлением, но и с облегчением Ассоль увидела, что деревья впереди свободно раздвинулись, пропустив синий разлив моря, облака и край желтого песчаного обрыва, на который она выбежала, почти падая от усталости. Здесь было устье ручья; разлившись нешироко и мелко, так что виднелась струящаяся голубизна камней, он пропадал во встречной морской волне. С невысокого, изрытого корнями обрыва Ассоль увидела, что у ручья, на плоском большом камне, спиной к ней, сидит человек, держа в руках сбежавшую яхту, и всесторонне рассматривает ее с любопытством слона, поймавшего бабочку. Отчасти успокоенная тем, что игрушка цела, Ассоль сползла по обрыву и, близко подойдя к незнакомцу, воззрилась на него изучающим взглядом, ожидая, когда он подымет голову. Но неизвестный так погрузился в созерцание лесного сюрприза, что девочка успела рассмотреть его с головы до ног, установив, что людей, подобных этому незнакомцу, ей видеть еще ни разу не приходилось.

Перед ней был не кто иной, как путешествующий пешком Эгль, известный собиратель песен, легенд, преданий и сказок. Серые кудри складками выпадали из-под его соломенной шляпы; серая блуза, заправленная в синие брюки, и высокие сапоги придавали ему вид охотника; белый воротничок, галстук, пояс, унизанный серебром блях, трость и сумка с новеньким никелевым замочком выказывали горожанина. Его лицо, если можно назвать лицом нос, губы и глаза, выглядывавшие из бурно разросшейся лучистой бороды и пышных, свирепо взрогаченных вверх усов, казалось бы вяло-прозрачным, если бы не глаза, серые, как песок, и блестящие, как чистая сталь, с взглядом смелым и сильным.

– Теперь отдай мне, – несмело сказала девочка. – Ты уже поиграл. Ты как поймал ее?

Эгль поднял голову, уронив яхту, – так неожиданно прозвучал взволнованный голосок Ассоль. Старик с минуту разглядывал ее, улыбаясь и медленно пропуская бороду в большой, жилистой горсти. Стиранное много раз ситцевое платье едва прикрывало до колен худенькие, загорелые ноги девочки. Ее темные густые волосы, забранные в кружевную косынку, сбились, касаясь плеч. Каждая черта Ассоль была выразительно легка и чиста, как полет ласточки. Темные, с оттенком грустного вопроса глаза казались несколько старше лица; его неправильный мягкий овал был оваян того рода прелестным загаром, какой присущ здоровой белизне кожи. Полуоткрытый маленький рот блещет кроткой улыбкой.

– Клянусь Гриммами⁽¹¹⁾, Эзопом⁽¹²⁾ и Андерсеном⁽¹³⁾, – сказал Эгль, поглядывая то на девочку, то на яхту. – Это что-то особенное. Слушай-ка ты, растение! Это твоя штука?

– Да, я за ней бежала по всему ручью; я думала, что умру. Она была тут?

– У самых моих ног. Кораблекрушение причиной того, что я в качестве берегового пирата могу вручить тебе этот приз. Яхта, покинутая экипажем, была выброшена на песок трехвершковым валом – между моей левой пяткой и окончательностью палки. – Он стукнул тростью. – Как зовут тебя, крошка?

– Ассоль, – сказала девочка, пряча в корзину поданную Эглем игрушку.

– Хорошо, – продолжал непонятную речь старик, не сводя глаз, в глубине которых поблескивала усмешка дружелюбного расположения духа. – Мне, собственно, не надо было спрашивать твое имя. Хорошо, что оно так странно, так однотонно, музыкально, как свист стрелы или шум морской раковины: что бы я стал делать, называясь ты одним из тех благозвучных, но нестерпимо привычных имен, которые чужды Прекрасной Неизвестности? Тем более я не желаю знать, кто ты, кто твои родители и как ты живешь. К чему нарушать очарование? Я занимался, сидя на этом камне, сравнительным изучением финских и японских сюжетов... как вдруг ручей выплеснул эту яхту, а затем появилась ты... Такая как есть. Я, милая, поэт в душе – хоть никогда не сочинял сам. Что у тебя в корзинке?

– Лодочки, – сказала Ассоль, встряхивая корзинкой, – потом пароход да еще три таких домика с флагами. Там солдаты живут.

– Отлично. Тебя послали продать. По дороге ты занялась игрой. Ты пустила яхту плавать, а она сбежала – ведь так?

– Ты разве видел? – с сомнением спросила Ассоль, стараясь вспомнить, не рассказала ли она это сама. – Тебе кто-то сказал? Или ты угадал?

– Я это знал.

– А как же?

– Потому что я – самый главный волшебник.

Ассоль смутилась: ее напряжение при этих словах Эгля переступило границу испуга. Пустынный морской берег, тишина, томительное приключение с яхтой, непонятная речь старика с сверкающими глазами, величественность его бороды и волос стали казаться девочке смешением сверхъестественного с действительностью. Сострой теперь Эгль гримасу или закричи что-нибудь – девочка помчалась бы прочь, заплакав и изнемогая от страха. Но Эгль, заметив, как широко раскрылись ее глаза, сделал крutoй вольт.

– Тебе нечего бояться меня, – серьезно сказал он. – Напротив, мне хочется поговорить с тобой по душе. – Тут только он уяснил себе, что в лице девочки было так пристально отмечено его впечатлением. «Невольное ожидание прекрасного, блаженной судьбы, – решил он. – Ах, почему я не родился писателем? Какой славный сюжет». – Ну-ка, – продолжал Эгль, стараясь

⁽¹¹⁾ Гриммы – немецкие филологи братья Якоб (1785–1863) и Вильгельм (1786–1859), авторы «Детских и семейных сказок» (1812–1814).

⁽¹²⁾ Эзоп (VI в. до н. э.) – знаменитый древнегреческий баснописец, считающийся создателем басни как жанра.

⁽¹³⁾ Андерсен Ханс Христиан (1805–1875) – датский писатель, автор множества знаменитых сказок.

закруглить оригинальное положение (склонность к мифотворчеству – следствие всегдашней работы – было сильнее, чем опасение бросить на неизвестную почву семена крупной мечты), – ну-ка, Ассоль, слушай меня внимательно. Я был в той деревне, откуда ты, должно быть, идешь; словом, в Каперне. Я люблю сказки и песни, и просидел я в деревне той целый день, стараясь услышать что-нибудь никем не слышанное. Но у вас не рассказывают сказок. У вас не поют песен. А если рассказывают и поют, то, знаешь, эти истории о хитрых мужиках и солдатах, с вечным восхвалением жульничества, эти грязные, как немытые ноги, грубые, как урчание в животе, коротенькие четверостишия с ужасным мотивом... Стой, я сбился. Я заговорю снова.

Подумав, он продолжал так:

– Не знаю, сколько пройдет лет, – только в Каперне расцветет одна сказка, памятная надолго. Ты будешь большой, Ассоль. Однажды утром в морской дали под солнцем сверкнет алый парус. Сияющая громада алых парусов белого корабля двинется, рассекая волны, прямо к тебе. Тихо будет плыть этот чудесный корабль, без криков и выстрелов: на берегу много соберется народу, удивляясь и ахая; и ты будешь стоять там. Корабль подойдет величественно к самому берегу под звуки прекрасной музыки; нарядная, в коврах, в золоте и цветах, поплывет от него быстрая лодка. «Зачем вы приехали? Кого вы ищете?» – спросят люди на берегу. Тогда ты увидишь храброго красивого принца; он будет стоять и протягивать к тебе руки. «Здравствуй, Ассоль! – скажет он. – Далеко-далеко отсюда я увидел тебя во сне и приехал, чтобы увезти тебя навсегда в свое царство. Ты будешь там жить со мной в розовой глубокой долине. У тебя будет все, что только ты пожелаешь; жить с тобой мы станем так дружно и весело, что никогда твоя душа не узнает слез и печали». Он посадит тебя в лодку, привезет на корабль, и ты уедешь навсегда в блестящую страну, где всходит солнце и где звезды спустятся с неба, чтобы поздравить тебя с приездом.

– Это все мне? – тихо спросила девочка. Ее серьезные глаза, повеселев, просияли доверием. Опасный волшебник, разумеется, не стал бы говорить так; она подошла ближе. – Может быть, он уже пришел... тот корабль?

– Не так скоро, – возразил Эгль, – сначала, как я сказал, ты вырастешь. Потом... Что говорить? – это *будет*, и кончено. Что бы ты тогда сделала?

– Я? – Она посмотрела в корзину, но, видимо, не нашла там ничего достойного служить веским вознаграждением. – Я бы его любила, – поспешно сказала она и не совсем твердо прибавила: – Если он не дерется.

– Нет, не будет драться, – сказал волшебник, таинственно подмигнув, – не будет, я ручаюсь за это. Иди, девочка, и не забудь того, что сказал тебе я меж двумя глотками ароматической водки и размышлением о песнях каторжников. Иди. Да будет мир пушистой твоей голове!

Лонгрен работал в своем маленьком огороде, окапывая картофельные кусты. Подняв голову, он увидел Ассоль, стремглав бежавшую к нему с радостным и нетерпеливым лицом.

– Ну, вот... – сказала она, сиюсь овладеть дыханием, и ухватила обеими руками за передник отца. – Слушай, что я тебе расскажу... На берегу, там, далеко, сидит волшебник...

Она начала с волшебника и его интересного предсказания. Горячка мыслей мешала ей плавно передать происшествие. Далее шло описание наружности волшебника и – в обратном порядке – погоня за упущенной яхтой.

Лонгрен выслушал девочку не перебивая, без улыбки, и, когда она кончила, воображение быстро нарисовало ему неизвестного старика с ароматической водкой в одной руке и игрушкой в другой. Он отвернулся, но, вспомнив, что в великих случаях детской жизни подобает быть человеку серьезным и удивленным, торжественно закивал головой, приговаривая:

– Так, так... По всем приметам, некому иначе и быть, как волшебнику. Хотел бы я на него посмотреть... Но ты, когда пойдешь снова, не сворачивай в сторону; заблудиться в лесу нетрудно.

Бросив лопату, он сел к низкому хворостяному забору и посадил девочку на колени. Страшно усталая, она пыталась еще прибавить кое-какие подробности, но жара, волнение и слабость клонили ее в сон. Глаза ее слипались, голова опустилась на твердое отцовское плечо, мгновение – и она унеслась бы в страну сновидений, как вдруг, обеспокоенная внезапным сомнением, Ассоль села прямо, с закрытыми глазами, и, упираясь кулачками в жилет Лонгрена, громко сказала:

– Ты как думаешь, придет волшебниковый корабль за мной или нет?

– Придет, – спокойно ответил матрос, – раз тебе это сказали, значит, все верно.

«Вырастет, забудет, – подумал он, – а пока... не стоит отнимать у тебя *такую* игрушку. Много ведь придется в будущем увидеть тебе не алых, а грязных и хищных парусов: издали – нарядных и белых, вблизи – рваных и наглых. Проезжий человек пошутил с моей девочкой. Что ж?! Добрая шутка! Ничего – шутка! Смотри, как сморило тебя, – полдня в лесу, в чаще. А насчет алых парусов думай как я: будут тебе алые паруса».

Ассоль спала. Лонгрэн, достав свободной рукой трубку, закурил, и ветер пронес дым сквозь плетень в куст, росший с внешней стороны огорода. У куста, спиной к забору, прожевывая пирог, сидел молодой нищий. Разговор отца с дочерью привел его в веселое настроение, а запах хорошего табака настроил добычливо.

– Дай, хозяин, покурить бедному человеку, – сказал он сквозь прутья. – Мой табак против твоего не табак, а, можно сказать, отравка.

– Я бы дал, – вполголоса ответил Лонгрэн, – но табак у меня в том кармане. Мне, видишь, не хочется будить дочку.

– Вот беда! Проснется, опять уснет, а прохожий человек взял да и покурил.

– Ну, – возразил Лонгрэн, – ты не без табака все-таки, а ребенок устал. Зайди, если хочешь, попозже.

Нищий презрительно сплюнул, вздел на палку мешок и съязвил:

– Принцесса, ясное дело. Вбил ты ей в голову эти заморские корабли! Эх ты, чудаковудский, а еще хозяин!

– Слушай-ка, – шепнул Лонгрэн, – я, пожалуй, разбужу ее, но только затем, чтобы намылить твою здоровенную шею. Пошел вон!

Через полчаса нищий сидел в трактире за столом с дюжиной рыбаков. Сзади их, то дергая мужей за рукав, то снимая через их плечо стакан с водкой – для себя, разумеется, – сидели рослые женщины с густыми бровями и руками круглыми, как булыжник. Нищий, вскипая обидой, повествовал:

– И не дал мне табаку. «Тебе, – говорит, – исполнится совершеннолетний год, а тогда, – говорит, – специальный красный корабль... За тобой. Так как твоя участь – выйти за принца. И тому, – говорит, – волшебнику – верь». Но я говорю: «Буди, буди, мол, табаку-то достать». Так ведь он за мной полдороги бежал.

– Кто? Что? О чем толкует? – слышались любопытные голоса женщин.

Рыбаки, еле поворачивая головы, растолковывали с усмешкой:

– Лонгрэн с дочерью одичали, а может, повредились в рассудке; вот человек рассказывает. Колдун был у них, так понимать надо. Они ждут – тетки, вам бы не прозевать! – заморского принца, да еще под красными парусами!

Через три дня, возвращаясь из городской лавки, Ассоль услышала в первый раз:

– Эй, висельница! Ассоль! Посмотри-ка сюда! Красные паруса плывут!

Девочка, вздрогнув, невольно взглянула из-под руки на разлив моря. Затем обернулась в сторону восклицаний; там, в двадцати шагах от нее, стояла кучка ребят; они гримасничали, высывая языки. Вздохнув, девочка побежала домой.

Глава II

Грэй

Если Цезарь находил, что лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме^[14], то Артур Грэй мог не завидовать Цезарю в отношении его мудрого желания. Он родился капитаном, хотел быть им и стал им.

Огромный дом, в котором родился Грэй, был мрачен внутри и величествен снаружи. К переднему фасаду примыкали цветник и часть парка. Лучшие сорта тюльпанов – серебристо-голубых, фиолетовых и черных с розовой тенью – извивались в газоне линиями прихотливо брошенных ожерелий. Старые деревья парка дремали в рассеянном полусвете над осоклой извилистого ручья. Ограда замка, так как это был настоящий замок, состояла из витых чугунных столбов, соединенных железным узором. Каждый столб оканчивался наверху пышной чугунной лилией; эти чаши по торжественным дням наполнялись маслом, пылая в ночном мраке обширным огненным строем.

Отец и мать Грэя были надменные невольники своего положения, богатства и законов того общества, по отношению к которому могли говорить «мы». Часть их души, занятая галереей предков, мало достойна изображения, другая часть – воображаемое продолжение галереи – начиналась маленьким Грэем, обреченным по известному, заранее составленному плану прожить жизнь и умереть так, чтобы его портрет мог быть повешен на стене без ущерба фамильной чести. В этом плане была допущена небольшая ошибка: Артур Грэй родился с живой душой, совершенно несклонной продолжать линию фамильного начертания.

Эта живость, эта совершенная извращенность мальчика начала сказываться на восьмом году его жизни; тип рыцаря причудливых впечатлений, искателя и чудотворца, то есть человека, взявшего из бесчисленного разнообразия ролей жизни самую опасную и трогательную – роль провидения, намечался в Грее еще тогда, когда, приставив к стене стул, чтобы достать картину, изображавшую распятие, он вынул гвозди из окровавленных рук Христа, то есть попросту замазал их голубой краской, похищенной у маляра. В таком виде он находил картину более сносной. Увлеченный своеобразным занятием, он начал уже замазывать и ноги распятого, но был застигнут отцом. Старик снял мальчика со стула за уши и спросил:

– Зачем ты испортил картину?

– Я не испортил.

– Это работа знаменитого художника.

– Мне все равно, – сказал Грэй. – Я не могу допустить, чтобы при мне торчали из рук гвозди и текла кровь. Я этого не хочу.

В ответе сына Лионель Грэй, скрыв под усами улыбку, узнал себя и не наложил наказания.

Грэй неумоимо изучал замок, делая поразительные открытия. Так, на чердаке он нашел стальной рыцарский хлам, книги, переплетенные в железо и кожу, истлевшие одежды и полчища голубей. В погребе, где хранилось вино, он получил интересные сведения относительно лафита^[15], мадеры^[16], хереса^[17]. Здесь, в мутном свете остроконечных окон, придавленных

^[14] ...цезарь находил, что лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме – фразу, ставшую крылатой, привел в своем труде «Изречения царей и полководцев» древнегреческий историк Плутарх (ок. 45–ок. 127).

^[15] *Лафит* (Шато Лафит) – французское красное сухое вино; название происходит от замка Лафит в коммуне Пойяк департамента Жиронда (с 1868 г. во владении семьи Ротшильдов).

^[16] *Мадера* – крепкое виноградное вино, приготовленное путем выдерживания в бочках на солнечных площадках или в нагреваемых помещениях при контакте с воздухом; название происходит от португальского острова Мадейра, расположенного у северо-западных берегов Африки.

^[17] *Херес* – белое крепкое виноградное вино; название происходит от города Херес-де-ла-Фронтера в испанской провинции Андалусия.

косыми треугольниками каменных сводов, стояли маленькие и большие бочки; самая большая, в форме плоского круга, занимала всю поперечную стену погреба, столетний темный дуб бочки лоснился как отшлифованный. Среди бочонков стояли в плетеных корзинках пузатые бутылки зеленого и синего стекла. На камнях и на земляном полу росли серые грибы с тонкими ножками: везде – плесень, мох, сырость, кислый, удушливый запах. Огромная паутина золотилась в дальнем углу, когда, под вечер, солнце высматривало ее последним лучом. В одном месте было зарыто две бочки лучшего аликанте^[18], какое существовало во время Кромвеля^[19], и погребщик, указывая Грэю на пустой угол, не упускал случая повторить историю знаменитой могилы, в которой лежал мертвец, более живой, чем стая фокстерьеров. Начиная рассказ, рассказчик не забывал попробовать, действует ли кран большой бочки, и отходил от него, видимо, с облегченным сердцем, так как невольные слезы чересчур крепкой радости блестели в его повеселевших глазах.

– Ну, вот что, – говорил Польдишок Грэю, усаживаясь на пустой ящик и набивая острый нос табаком, – видишь ты это место? Там лежит такое вино, за которое не один пьяница дал бы согласие вырезать себе язык, если бы ему позволили хватить небольшой стаканчик. В каждой бочке сто литров вещества, взрывающего душу и превращающего тело в неподвижное тесто. Его цвет темнее вишни, и оно не потечет из бутылки. Оно густо, как хорошие сливки. Оно заключено в бочки черного дерева, крепкого, как железо. На них двойные обручи красной меди. На обручах латинская надпись: «Меня выпьет Грэй, когда будет в раю». Эта надпись толковалась так пространно и разноречиво, что твой прадедушка, высокородный Симеон Грэй, построил дачу, назвал ее «Рай» и думал таким образом согласить загадочное изречение с действительностью путем невинного остроумия. Но что ты думаешь? Он умер, как только начали сбивать обручи, от разрыва сердца – так волновался лакомый старичок. С тех пор бочку эту не трогают. Возникло убеждение, что драгоценное вино принесет несчастье. В самом деле, такой загадки не задавал египетский сфинкс^[20]. Правда, он спросил одного мудреца: «Съем ли я тебя, как съедаю всех? Скажи правду – останешься жив», но и то, по зрелом размышлении...

– Кажется, опять каплет из крана, – перебивал сам себя Польдишок, косвенными шагами устремляясь в угол, где, укрепив кран, возвращался с открытым, светлым лицом. – Да. Хорошо рассудив, а главное, не торопясь, мудрец мог бы сказать сфинксу: «Пойдем, братец, выпьем, и ты забудешь об этих глупостях». «Меня выпьет Грэй, когда будет в раю»! Как понять? Выпьет, когда умрет, что ли? Странно. Следовательно, он святой, следовательно, он не пьет ни вина, ни простой водки. Допустим, что «рай» означает счастье. Но раз так поставлен вопрос, всякое счастье утратит половину своих блестящих перышек, когда счастливец искренно спросит себя: рай ли оно? Вот то-то и штука. Чтобы с легким сердцем напиться из такой бочки и смеяться, мой мальчик, хорошо смеяться, нужно одной ногой стоять на земле, другой – на небе. Есть еще третье предположение: что когда-нибудь Грэй допьется до блаженно-райского состояния и дерзко опустошит бочечку. Но это, мальчик, было бы не исполнение предсказания, а трагичный дебош.

Убедившись еще раз в исправном состоянии крана большой бочки, Польдишок сосредоточенно и мрачно заканчивал:

– Эти бочки привез в 1793 году твой предок, Джон Грэй, из Лиссабона, на корабле «Бигль»; за вино было уплачено две тысячи золотых пиастров. Надпись на бочках сделана ору-

^[18] *Аликанте* – красное виноградное вино; название происходит от одноименной провинции в Испании.

^[19] *Кромвель* Оливер (1599–1658) – английский государственный деятель и полководец, деятель Английской буржуазной революции XVII в., один из инициаторов казни короля Карла I и провозглашения республики (1649). В 1653 г. установил режим единоличной военной диктатуры.

^[20] *Египетский сфинкс* – в греческой мифологии – животное с лапами льва, туловищем собаки, головой и грудью женщины и крыльями; обитало близ Фив и задерживало всех проходящих, задавая им неразрешимые загадки, и не получив ответа, пожирало их.

жейным мастером Вениамином Эльяном из Пондишери^[21]. Бочки погружены в грунт на шесть футов и засыпаны золой из виноградных стеблей. Этого вина никто не пил, не пробовал и не будет пробовать.

– Я выпью его, – сказал однажды Грэй, топнув ногой.

– Вот храбрый молодой человек! – заметил Польдишок. – Ты выпьешь его в рай?

– Конечно. Вот рай!.. Он у меня, видишь? – Грэй тихо засмеялся, раскрыв свою маленькую руку. Нежная, но твердых очертаний ладонь озарилась солнцем, и мальчик сжал пальцы в кулак. – Вот он, здесь!.. То тут, то опять нет...

Говоря это, он то раскрывал, то сжимал руку и наконец, довольный своей шуткой, выбежал, опередив Польдишока, по мрачной лестнице в коридор нижнего этажа.

Посещение кухни было строго воспрещено Грэю, но, раз открыв уже этот удивительный, полыхающий огнем очагов мир пара, копоти, шипения, клокотания кипящих жидкостей, стука ножей и вкусных запахов, мальчик усердно навещал огромное помещение. В суровом молчании, как жрецы, двигались повара; их белые колпаки на фоне почерневших стен придавали работе характер торжественного служения; веселые, толстые судомойки у бочек с водой мыли посуду, звеня фарфором и серебром; мальчики, сгибаясь под тяжестью, вносили корзины, полные рыб, устриц, раков и фруктов. Там на длинном столе лежали радужные фазаны, серые утки, пестрые куры; там свиная туша с коротеньким хвостом и младенчески закрытыми глазами; там – репа, капуста, орехи, синий изюм, загорелые персики.

На кухне Грэй немного робел: ему казалось, что здесь всем двигают темные силы, власть которых есть главная пружина жизни замка; окрики звучали как команда и заклинание; движения работающих, благодаря долгому навыку, приобрели ту отчетливую, скупую точность, какая кажется вдохновением. Грэй не был еще так высок, чтобы взглянуть в самую большую кастрюлю, бурлившую подобно Везувия, но чувствовал к ней особенное почтение; он с трепетом смотрел, как ее ворочают две служанки; на плиту выплескивалась тогда дымная пена, и пар, поднимаясь с зашумевшей плиты, волнами наполнял кухню. Раз жидкости выплеснулось так много, что она обварила руку одной девушке. Кожа мгновенно покраснела, даже ногти стали красными от прилива крови, и Бетси (так звали служанку), плача, натирала маслом пострадавшие места. Слезы неудержимо катились по ее круглому перепуганному лицу.

Грэй замер. В то время, как другие женщины хлопотали около Бетси, он пережил ощущение острого чужого страдания, которое не мог испытать сам.

– Очень ли тебе больно? – спросил он.

– Попробуй, так узнаешь, – ответила Бетси, накрывая руку передником.

Нахмутив брови, мальчик вскарабкался на табурет, зачерпнул длинной ложкой горячей жижи (сказать кстати, это был суп с бараниной) и плеснул на сгиб кисти. Впечатление оказалось не слабым, но слабость от сильной боли заставила его пошатнуться. Бледный, как мука, Грэй подошел к Бетси, заложив горящую руку в карман штанишек.

– Мне кажется, что тебе очень больно, – сказал он, умалчивая о своем опыте. – Пойдем, Бетси, к врачу. Пойдем же!

Он усердно тянул ее за юбку, в то время как сторонники домашних средств наперерыв давали служанке спасительные рецепты. Но девушка, сильно мучаясь, пошла с Грэем. Врач смягчил боль, наложив перевязку. Лишь после того, как Бетси ушла, мальчик показал свою руку.

Этот незначительный эпизод сделал двадцатилетнюю Бетси и десятилетнего Грэя истинными друзьями. Она набивала его карманы пирожками и яблоками, а он рассказывал ей сказки и другие истории, вычитанные в своих книжках. Однажды он узнал, что Бетси не может выйти замуж за конюха Джима, ибо у них нет денег обзавестись хозяйством. Грэй разбил каминными

^[21] Пондишери – город на юго-востоке Индии; до 1954 г. административный центр французских владений в Индии.

щипцами свою фарфоровую копилку и вытряхнул оттуда все, что составляло около ста фунтов. Встав рано, когда бесприданница удалась на кухню, он пробрался в ее комнату и, засунув подарок в сундук девушки, прикрыл его короткой запиской: «Бетси, это твое. Предводитель шайки разбойников Робин Гуд»^[22]. Переполох, вызванный на кухне этой историей, принял такие размеры, что Грэй должен был сознаться в подлоге. Он не взял денег назад и не хотел более говорить об этом.

Его мать была одною из тех натур, которые жизнь отливает в готовой форме. Она жила в полусне обеспеченности, предусматривающей всякое желание заурядной души, поэтому ей не оставалось ничего делать, как советоваться с портнихами, доктором и дворецким. Но страстная, почти религиозная привязанность к своему странному ребенку была, надо полагать, единственным клапаном тех ее склонностей, заклороформированных воспитанием и судьбой, которые уже не живут, но смутно бродят, оставляя волю бездейственной. Знатная дама напоминала паву, высидевшую яйцо лебедя. Она болезненно чувствовала прекрасную обособленность сына; грусть, любовь и стеснение наполняли ее, когда она прижимала мальчика к груди, где сердце говорило другое, чем язык, привычно отражающий условные формы отношений и помышлений. Так облачный эффект, причудливо построенный солнечными лучами, проникает в симметрическую обстановку казенного здания, лишая ее банальных достоинств; глаз видит и не узнает помещения: таинственные оттенки света среди убожества творят ослепительную гармонию.

Знатная дама, чье лицо и фигура, казалось, могли отвечать лишь ледяным молчанием огненным голосам жизни, чья тонкая красота скорее отталкивала, чем привлекала, так как в ней чувствовалось надменное усилие воли, лишенное женственного притяжения, – эта Лилиан Грэй, оставаясь наедине с мальчиком, делалась простой мамой, говорившей любящим, кротким тоном те самые сердечные пустяки, какие не передашь на бумаге – их сила в чувстве, не в самих них. Она решительно не могла в чем бы то ни было отказать сыну. Она прощала ему все: пребывание в кухне, отвращение к урокам, непослушание и многочисленные причуды.

Если он не хотел, чтобы подстригали деревья, деревья оставались нетронутыми, если он просил простить или наградить кого-либо, заинтересованное лицо знало, что так и будет; он мог ездить на любой лошади, брать в замок любую собаку; рыться в библиотеке, бегать босиком и есть что ему вздумается.

Его отец некоторое время боролся с этим, но уступил – не принципу, а желанию жены. Он ограничился удалением из замка всех детей служащих, опасаясь, что благодаря низкому обществу прихоти мальчика превратятся в склонности, трудно искоренимые. В общем, он был всепоглощенно занят бесчисленными семейными процессами, начало которых терялось в эпохе возникновения бумажных фабрик, а конец – в смерти всех кляузников. Кроме того, государственные дела, дела поместий, диктант мемуаров, выезды парадных охот, чтение газет и сложная переписка держали его в некотором внутреннем отдалении от семьи; сына он видел так редко, что иногда забывал, сколько ему лет.

Таким образом, Грэй жил в своем мире. Он играл один – обыкновенно на задних дворах замка, имевших в старину боевое значение. Эти обширные пустыри, с остатками высоких рвов, с заросшими мхом каменными погребями, были полны бурьяна, крапивы, репейника, терна и скромно-пестрых диких цветов. Грэй часами оставался здесь, исследуя норы кротов, сражаясь с бурьяном, подстерегая бабочек и строя из кирпичного лома крепости, которые бомбардировал палками и булыжником.

Ему шел уже двенадцатый год, когда все намеки его души, все разрозненные черты духа и оттенки тайных порывов соединились в одном сильном моменте и, тем получив стройное выражение, стали неукротимым желанием. До этого он как бы находил лишь отдельные части

^[22] Робин Гуд – герой английских народных баллад, заступник бедных и обиженных.

своего сада – просвет, тень, цветок, дремучий и пышный ствол – во множестве садов *иных* и вдруг увидел их ясно, все – в прекрасном, поражающем соответствии.

Это случилось в библиотеке. Ее высокая дверь с мутным стеклом вверх была обыкновенно заперта, но защелка замка слабо держалась в гнезде створок: надавленная рукой, дверь отходила, натуживалась и раскрывалась. Когда дух исследования заставил Грэя проникнуть в библиотеку, его поразили пыльный свет, вся сила и особенность которого заключалась в цветном узоры верхней части оконных стекол. Тишина покинутости стояла здесь, как прудовая вода. Темные ряды книжных шкапов местами примыкали к окнам, заслонив их наполовину, между шкапов были проходы, заваленные горами книг. Там – раскрытый альбом с выскользнувшими внутренними листами, там – свитки, перевязанные золотым шнуром; стопы книг угрюмого вида; толстые пласты рукописей, насыпь миниатюрных томиков, трещавших как кора, если их раскрывали; здесь – чертежи и таблицы, ряды новых изданий, карты; разнообразие переплетов, грубых, нежных, черных, пестрых, синих, серых, толстых, тонких, шершавых и гладких. Шкапы были плотно набиты книгами. Они казались стенами, заключившими жизнь в самой толще своей. В отражениях шкапных стекол виднелись другие шкапы, покрытые бесцветно блестящими пятнами. Огромный глобус, заключенный в медный сферический крест экватора и меридиана, стоял на круглом столе.

Обернувшись к выходу, Грэй увидел над дверью огромную картину, сразу содержанием своим наполнившую душное оцепенение библиотеки. Картина изображала корабль, вздымающийся на гребень морского вала. Струи пены стекали по его склону. Он был изображен в последнем моменте взлета. Корабль шел прямо на зрителя. Высоко поднявшийся бушприт заслонял основание мачт. Гребень вала, распластанный корабельным килем, напоминал крылья гигантской птицы. Пена неслась в воздух. Паруса, туманно видимые из-за бакборта^[23] и выше бушприта^[24], полные неистовой силы шторма, валились всей громадой назад, чтобы, перейдя вал, выпрямиться, а затем, склоняясь над бездной, мчать судно к новым лавинам. Разорванные облака низко трепетали над океаном. Тусклый свет обреченно боролся с надвигающейся тьмой ночи. Но всего замечательнее была в этой картине фигура человека, стоящего на баке^[25] спиной к зрителю. Она выражала все положение, даже характер момента. Поза человека (он расставил ноги, взмахнув руками) ничего, собственно, не говорила о том, чем он занят, но заставляла предполагать крайнюю напряженность внимания, обращенного к чему-то на палубе, невидимой зрителю. Завернутые полы его кафтана трепались ветром; белая коса и черная шпага вытянуто рвались в воздух; богатство костюма выказывало в нем капитана, танцующее положение тела – взмах вала; без шляпы, он был, видимо, поглощен опасным моментом и кричал – но что? Видел ли он, как валится за борт человек, приказывал ли повернуть на другой галс^[26] или, заглушая ветер, звал боцмана? Не мысли, но тени этих мыслей выросли в душе Грэя, пока он смотрел картину. Вдруг показалось ему, что слева подошел, став рядом, неизвестный невидимый; стоило повернуть голову, как причудливое ощущение исчезло бы без следа. Грэй знал это. Но он не погасил воображения, а прислушался. Беззвучный голос выкрикнул несколько отрывистых фраз, непонятных, как малайский язык; раздался шум как бы долгих обвалов; эхо и мрачный ветер наполнили библиотеку. Все это Грэй слышал внутри себя. Он осмотрелся: мгновенно вставшая тишина рассеяла звучную паутину фантазии; связь с бурей исчезла.

Грэй несколько раз приходил смотреть эту картину. Она стала для него тем нужным словом в беседе души с жизнью, без которого трудно понять себя. В маленьком мальчике посте-

^[23] Бакборт – левый борт судна.

^[24] Бушприт – горизонтальная или наклонная мачта, выставленная вперед с носа парусного судна.

^[25] Бак – носовая часть верхней палубы корабля.

^[26] Галс – курс судна относительно ветра; при левом галсе ветер дует в левый борт судна.

пенно укладывалось огромное море. Он сжился с ним, роаясь в библиотеке, выискивая и жадно читая те книги, за золотой дверью которых открывалось синее сияние океана. Там, сея за кормой пену, двигались корабли. Часть их теряла паруса, мачты и, захлебываясь волной, опускалась в тьму пучин, где мелькают фосфорические глаза рыб. Другие, схваченные бурунами, бились о рифы; утихающее волнение грозно шатало корпус; обезлюдевший корабль с порванными снастями переживал долгую агонию, пока новый шторм не разносил его в щепки. Третьи благополучно грузились в одном порту и выгружались в другом; экипаж, сидя за трактирным столом, воспевал плавание и любовно пил водку. Были там еще корабли-пираты, с черным флагом и страшной, размахивающей ножами командой; корабли-призраки, сияющие мертвенным светом синего озарения; военные корабли с солдатами, пушками и музыкой; корабли научных экспедиций, высматривающие вулканы, растения и животных; корабли с мрачной тайной и бунтами; корабли открытий и корабли приключений.

В этом мире, естественно, возвышалась над всем фигура капитана. Он был судьбой, душой и разумом корабля. Его характер определял досуги и работу команды. Сама команда подбиралась им лично и во многом отвечала его наклонностям. Он знал привычки и семейные дела каждого человека. Он обладал в глазах подчиненных магическим знанием, благодаря которому уверенно шел, скажем, из Лиссабона в Шанхай, по необозримым пространствам. Он отражал бурю противодействием системы сложных усилий, убивая панику короткими приказаниями; плавал и останавливался где хотел; распоряжался отплытием и нагрузкой, ремонтом и отдыхом; большую и разумнейшую власть в живом деле, полном непрерывного движения, трудно было представить. Эта власть замкнутостью и полнотой равнялась власти Орфея^[27].

Такое представление о капитане, такой образ и такая истинная действительность его положения заняли, по праву душевных событий, главное место в блистающем сознании Грэя. Никакая профессия, кроме этой, не могла бы так удачно сплавить в одно целое все сокровища жизни, сохранив неприкосновенным тончайший узор каждого отдельного счастья. Опасность, риск, власть природы, свет далекой страны, чудесная неизвестность, мелькающая любовь, цветущая свиданием и разлукой; увлекательное кипение встреч, лиц, событий; безмерное разнообразие жизни, между тем как высоко в небе то Южный Крест^[28], то Медведица^[29], и все материки – в зорких глазах, хотя твоя каюта полна непокидающей родины, с ее книгами, картинками, письмами и сухими цветами, обвитыми шелковистым локоном в замшевой ладанке на твердой груди.

Осенью, на пятнадцатом году жизни, Артур Грэй тайно покинул дом и проник за золотые ворота моря. Вскорости из порта Дубельт вышла в Марсель шхуна «Ансельм», увозя юнгу с маленькими руками и внешностью переодетой девочки. Этот юнга был Грэй, обладатель изящного саквояжа, тонких, как перчатка, лакированных сапожков и батистового белья с вытканными коронами.

В течение года, пока «Ансельм» посещал Францию, Америку и Испанию, Грэй промотал часть своего имущества на пирожном, отдавая этим дань прошлому, а остальную часть – для настоящего и будущего – проиграл в карты. Он хотел быть «*дьявольским*» моряком. Он, задыхаясь, пил водку, а на купанье, с замирающим сердцем, прыгал в воду головой вниз с двухсаженной высоты.

Понемногу он потерял все, кроме главного – своей странной летящей души; он потерял слабость, став широк костью и крепок мускулами, бледность заменил темным загаром, изыс-

^[27] Орфей – в греческой мифологии – певец, обладавший пленительным голосом, способным укротить даже диких зверей и силы природы.

^[28] Южный Крест – созвездие в Южном полушарии, по форме напоминающее крест, чья более длинная перекладина почти точно указывает направление на юг.

^[29] Медведица – имеется в виду созвездие Малая Медведица в Северном полушарии, по форме напоминающее ковш; крайняя звезда ручки ковша – Полярная – указывает направление на север.

канную беспечность движений отдал за уверенную меткость работающей руки, а в его думающих глазах отразился блеск, как у человека, смотрящего на огонь. И его речь, утратив неравномерную, надменно застенчивую текучесть, стала краткой и точной, как удар чайки в струю за трепетным серебром рыб.

Капитан «Ансельма» был добрый человек, но суровый моряк, взявший мальчика из некоего злорадства. В отчаянном желании Грэя он видел лишь эксцентрическую прихоть и зараннее торжествовал, представляя, как месяца через два Грэй скажет ему, избегая смотреть в глаза: «Капитан Гоп, я ободрал локти, ползая по снастям; у меня болят бока и спина, пальцы не разгибаются, голова трещит, а ноги трясутся. Все эти мокрые канаты в два пуда^[30] на весу рук; все эти леера^[31], ванты^[32], брашпили, тросы, стеньги^[33] и салинги^[34] созданы на мучение моему нежному телу. Я хочу к маме». Выслушав мысленно такое заявление, капитан Гоп держал, мысленно же, следующую речь: «Отправляйтесь куда хотите, мой птенчик. Если к вашим чувствительным крылышкам пристала смола, вы можете отмыть ее дома одеколоном «Роза-мимоза». Этот выдуманный Гопом одеколон более всего радовал капитана, и, закончив воображенную отповедь, он вслух повторял: «Да. Ступайте к “Розе-мимозе”».

Между тем внушительный диалог приходил на ум капитану все реже и реже, так как Грэй шел к цели со стиснутыми зубами и побледневшим лицом. Он выносил беспокойный труд с решительным напряжением воли, чувствуя, что ему становится все легче и легче по мере того, как суровый корабль вламывался в его организм, а неумение заменялось привычкой. Случалось, что петель якорной цепи его сшибало с ног, ударяя о палубу, что не придерванный у кнека канат вырывался из рук, сдирая с ладоней кожу, что ветер бил его по лицу мокрым углом паруса с вшитым в него железным кольцом, и, короче сказать, вся работа являлась пыткой, требующей пристального внимания, но, как ни тяжело он дышал, с трудом разгибая спину, улыбка презрения не оставляла его лица. Он молча сносил насмешки, издевательства и неизбежную брань, до тех пор пока не стал в новой сфере «своим», но с этого времени неизменно отвечал боксом на всякое оскорбление.

Однажды капитан Гоп, увидев, как он мастерски вяжет на рею^[35] парус, сказал себе: «Победа на твоей стороне, плут». Когда Грэй спустился на палубу, Гоп вызвал его в каюту и, раскрыв истрепанную книгу, сказал:

– Слушай внимательно! Брось курить! Начинается отделка щенка под капитана.

И он стал читать – вернее, говорить и кричать – по книге древние слова моря. Это был первый урок Грэя. В течение года он познакомился с навигацией^[36], практикой, кораблестроением, морским правом, лоцией^[37] и бухгалтерией. Капитан Гоп подавал ему руку и говорил: «Мы».

В Ванкувере Грэя поймало письмо матери, полное слез и страха. Он ответил: «Я знаю. Но если бы ты видела как я: посмотри моими глазами. Если бы ты слышала как я: приложи к уху раковину, в ней шум вечной волны; если бы ты любила как я – всё, в твоём письме я нашел бы, кроме любви и чека, – улыбку...» И он продолжал плавать, пока «Ансельм» не прибыл с грузом в Дубельт, откуда, пользуясь остановкой, двадцатилетний Грэй отправился навестить замок.

^[30] Два пуда – более тридцати двух килограммов; пуд – русская мера веса, равная 16,38 кг.

^[31] Леер – туго натянутая веревка или стальной трос, оба конца которого закреплены; применяется, в частности, для постановки косых парусов и для предохранения людей от падения за борт.

^[32] Ванты – снасти, которыми производится боковое крепление мачт и стеньг.

^[33] Стеньга – верхняя часть мачты, когда мачта составлена по высоте из двух деревьев.

^[34] Салинг – рама из продольных и поперечных брусев, устанавливаемая на верхнем конце стеньги для лучшего крепления верхних снастей составных мачт.

^[35] Рея – поперечный брус мачты, на котором подвешивается верхней кромкой прямой парус.

^[36] Навигация – раздел науки кораблевождения, изучающий способы безопасного и точного плавания судна.

^[37] Лоция – раздел науки кораблевождения, изучающий моря, океаны и реки с точки зрения условий плавания по ним.

Все было то же кругом; так же нерушимо в подробностях и в общем впечатлении, как пять лет назад, лишь гуще стала листва молодых вязов; ее узор на фасаде здания сдвинулся и разросся.

Слуги, сбежавшиеся к нему, обрадовались, восторжались и замерли в той же почти-тельности, с какой, как бы не далее как вчера, встречали этого Грэя. Ему сказали, где мать; он прошел в высокое помещение и, тихо прикрыв дверь, неслышно остановился, смотря на поседевшую женщину в черном платье. Она стояла перед распятием: ее страстный шепот был звучен, как полное биение сердца. «О плавающих, путешествующих, болеющих, страдающих и плененных», – слышал, коротко дыша, Грэй. Затем было сказано: «И мальчику моему...» Тогда он сказал: «Я...» Но больше не мог ничего выговорить. Мать обернулась. Она похудела: в надменности ее тонкого лица светилось новое выражение, подобное возвращенной юности. Она стремительно подошла к сыну; короткий грудной смех, сдержанное восклицание и слезы в глазах – вот все. Но в эту минуту она жила сильнее и лучше, чем за всю жизнь. «Я сразу узнала тебя, о мой милый, мой маленький!» И Грэй действительно перестал быть большим. Он выслушал о смерти отца, затем рассказал о себе. Она внимала без упреков и возражений, но про себя – во всем, что он утверждал как истину своей жизни, – видела лишь игрушки, которыми забавляется ее мальчик. Такими игрушками были материки, океаны и корабли.

Грэй пробыл в замке семь дней; на восьмой день, взяв крупную сумму денег, он вернулся в Дубельт и сказал капитану Гопу: «Благодарю. Вы были добрым товарищем. Прощай же, старший товарищ, – здесь он закрепил истинное значение этого слова жутким, как тиски, рукопожатием, – теперь я буду плавать отдельно, на собственном корабле». Гоп вспыхнул, плюнул, вырвал руку и пошел прочь, но Грэй, догнав, обнял его. И они уселись в гостинице, все вместе, двадцать четыре человека с командой, и пили, и кричали, и пели, и выпили и съели все, что было на буфете и в кухне.

Прошло еще мало времени, и в порте Дубельт вечерняя звезда сверкнула над черной линией новой мачты. То был «Секрет», купленный Грэем: трехмачтовый галиот в двести шестьдесят тонн. Так, капитаном и собственником корабля Артур Грэй плывал еще четыре года, пока судьба не привела его в Лисс. Но он уже навсегда запомнил тот короткий грудной смех, полный сердечной музыки, каким встретили его дома, и раза два в год посещал замок, оставляя женщине с серебряными волосами нетвердую уверенность в том, что такой большой мальчик, пожалуй, справится со своими игрушками.

Глава III

Рассвет

Струя пены, отбрасываемая кормой корабля Грэй «Секрет», прошла через океан белой чертой и погасла в блеске вечерних огней Лисса. Корабль встал на рейде недалеко от маяка.

Десять дней «Секрет» выгружал чесучу^[38], кофе и чай, одиннадцатый день команда провела на берегу, в отдыхе и винных парах; на двенадцатый день Грэй глухо затосковал, без всякой причины, не понимая тоски.

Еще утром, едва проснувшись, он уже почувствовал, что этот день начался в черных лучах. Он мрачно оделся, неохотно позавтракал, забыл прочитать газету и долго курил, погруженный в невыразимый мир бесцельного напряжения; среди смутно возникающих слов бродили непризнанные желания, взаимно уничтожая себя равным усилием. Тогда он занялся делом.

В сопровождении боцмана Грэй осмотрел корабль, велел подтянуть ванты, ослабить штуртрос^[39], почистить клюзы^[40], переменить кливер^[41], просмолить палубу, вычистить компас, открыть, проветрить и вымести трюм. Но дело не развлекало Грэя. Полный тревожного внимания к тоскливости дня, он прожил его раздражительно и печально: его как бы позвал кто-то, но он забыл, кто и куда.

Под вечер он уселся в каюте, взял книгу и долго возражал автору, делая на полях заметки парадоксального свойства. Некоторое время его забавляла эта игра, эта беседа с властвующим из гроба мертвым. Затем, взяв трубку, он утонул в синем дыме, живя среди призрачных арабесок^[42], возникающих в его зыбких слоях.

Табак страшно могуч; как масло, вылитое в скачущий разрыв волн, смирят их бешенство, так и табак: смягчая раздражение чувств, он сводит их несколькими тонами ниже; они звучат плавнее и музыкальнее. Поэтому тоска Грэя, утратив наконец после трех трубок наступательное значение, перешла в задумчивую рассеянность. Такое состояние длилось еще около часа; когда исчез душевный туман, Грэй очнулся, захотел движения и вышел на палубу. Была полная ночь; за бортом в сне черной воды дремали звезды и огни мачтовых фонарей. Теплый, как щека, воздух пахнул морем. Грэй, подняв голову, прищурился на золотой уголь звезды; мгновенно через умопомрачительность миль проникла в его зрачки огненная игла далекой планеты. Глухой шум вечернего города достигал слуха из глубины залива; иногда с ветром по чуткой воде влетала береговая фраза, сказанная как бы на палубе; ясно прозвучав, она гасла в скрипе снастей; на баке вспыхнула спичка, осветив пальцы, круглые глаза и усы. Грэй свистнул; огонь трубки двинулся и поплыл к нему; скоро капитан увидел во тьме руки и лицо вахтенного.

– Передай Летике, – сказал Грэй, – что он поедет со мной. Пусть возьмет удочки.

Он спустился в шлюп, где ждал минут десять. Летика, проворный, жуликоватый парень, загремев о борт веслами, подал их Грэю; затем спустился сам, наладил уключины и сунул мешок с провизией в корму шлюпа. Грэй сел к рулю.

– Куда прикажете плыть, капитан? – спросил Летика, кружа лодку правым веслом.

Капитан молчал. Матрос знал, что в это молчание нельзя вставлять слова, и поэтому, замолчав сам, стал сильно грести.

^[38] Чесуча – суровая шелковая платяная ткань.

^[39] Штуртрос – цепь или трос, идущий от барабана, вращаемого штурвалом, к рулю.

^[40] Клюз – отверстие в борту судна для выпуска за борт якорного каната или цепи.

^[41] Кливер – косой треугольный парус, который ставится впереди фок-мачты – передней мачты на судне.

^[42] Арабески – вид орнамента, состоящий из геометрических фигур и стилизованных листьев, цветов и т. п.

Грэй взял направление к открытому морю, затем стал держаться левого берега. Ему было все равно, куда плыть. Руль глухо журчал; звякали и плескали весла, все остальное было морем и тишиной.

В течение дня человек внимает такому множеству мыслей, впечатлений, речей и слов, что все это составило бы не одну толстую книгу. Лицо дня приобретает определенное выражение, но Грэй сегодня тщетно вглядывался в это лицо. В его смутных чертах светилось одно из тех чувств, каких много, но которым не дано имени. Как их ни называть, они останутся навсегда вне слов и даже понятий, подобные внушению аромата. Во власти такого чувства был теперь Грэй; он мог бы, правда, сказать: «Я жду, я вижу, я скоро узнаю...» – но даже эти слова равнялись не большему, чем отдельные чертежи в отношении архитектурного замысла. В этих веяниях была еще сила светлого возбуждения.

Там, где они плыли, слева волнистым смущением тьмы проступал берег. Над красным стеклом окон носились искры дымовых труб; это была Каперна. Грэй слышал перебранку и лай. Огни деревни напоминали печную дверцу, прогоревшую дырочками, сквозь которые виден пылающий уголь. Направо был океан, явственный, как присутствие спящего человека. Минував Каперну, Грэй повернул к берегу. Здесь тихо прибывало водой; засветив фонарь, он увидел ямы обрыва и его верхние, нависшие выступы; это место ему понравилось.

– Здесь будем ловить рыбу, – сказал Грэй, хлопая гребца по плечу.

Матрос неопределенно хмыкнул.

– Первый раз плаваю с таким капитаном, – пробормотал он. – Капитан дельный, но *непохожий*. Загвоздистый капитан. Впрочем, люблю его.

Забив весло в ил, он привязал к нему лодку, и оба поднялись вверх, карабкаясь по выскакивающим из-под колен и локтей камням. От обрыва тянулась чаща. Раздался стук топора, ссекающего сухой ствол; повалив дерево, Летика развел костер на обрыве. Двинулись тени и отраженное водой пламя; в отступившем мраке высветились трава и ветви; над костром, перебитый дымом, сверкая, дрожал воздух.

Грэй сел у костра.

– Ну-ка, – сказал он, протягивая бутылку, – выпей, друг Летика, за здоровье всех трезвенников. Кстати, ты взял не хинную, а имбирную.

– Простите, капитан, – ответил матрос, переводя дух. – Разрешите закусить этим... – Он отгрыз сразу половину цыпленка и, вынув изо рта крылышко, продолжал: – Я знаю, что вы любите хинную. Только было темно, а я торопился. Имбирь, понимаете, ожесточает человека. Когда мне нужно подраться, я пью имбирную.

Пока капитан ел и пил, матрос искоса поглядывал на него, затем, не удержавшись, сказал:

– Правда ли, капитан, что, говорят, будто бы родом вы из знатного семейства?

– Это не интересно, Летика. Бери удочку и лови, если хочешь.

– А вы?

– Я? Не знаю. Может быть. Но... потом.

Летика размотал удочку, приговаривая стихами, на что был мастер, к великому восхищению команды:

– Из шнурка и деревяшки я изладил длинный хлыст и, крючок к нему приделав, испустил протяжный свист. – Затем он пощекотал пальцем в коробке червей. – Этот червь в земле скитался и своей был жизни рад, а теперь на крюк попался – и его сомы съедят.

Наконец он ушел с пением:

– Ночь тиха, прекрасна водка, трепещите, осетры, хлопнись в обморок, селедка, – удит Летика с горы!

Грэй лег у костра, смотря на отражавшую огонь воду. Он думал, но без участия воли; в этом состоянии мысль, рассеянно удерживая окружающее, смутно видит его; она мчится,

подобно коню в тесной толпе, давя, расталкивая и останавливая; пустота, смятение и задержка попеременно сопутствуют ей. Она бродит в душе вещей; от яркого волнения спешит к тайным намекам; кружится по земле и небу, жизненно беседует с воображенными лицами, гасит и украшает воспоминания. В облачном движении этом все живо и выпукло и все бессвязно, как бред. И часто улыбается отдыхающее сознание, видя, например, как в размышление о судьбе вдруг жалует гостем образ совершенно неподходящий: какой-нибудь пруттик, сломанный два года назад. Так думал у костра Грэй, но был «где-то» – не здесь.

Локоть, которым он опирался, поддерживая рукой голову, просырал и затек. Бледно светились звезды; мрак усилился напряжением, предшествующим рассвету. Капитан стал засыпать, но не замечал этого. Ему захотелось выпить, и он потянулся к мешку, развязывая его уже во сне. Затем ему перестало сниться; следующие два часа были для Грэя не более тех секунд, в течение которых он склонился головой на руки. За это время Летика появлялся у костра дважды, курил и засматривал из любопытства в рот пойманным рыбам – что там? Но там, само собой, ничего не было.

Проснувшись, Грэй на мгновение забыл, как попал в эти места. С изумлением видел он счастливый блеск утра, обрыв берега среди ярких ветвей и пылающую синюю даль; над горизонтом, но в то же время и над его ногами висели листья орешника. Внизу обрыва – с впечатлением, что под самой спиной Грэя, – шипел тихий прибой. Мелькнув с листа, капля росы растекалась по сонному лицу холодным шлепком. Он встал. Везде торжествовал свет. Остывшие головни костра цеплялись за жизнь тонкой струей дыма. Его запах придавал удовольствию дышать воздухом лесной зелени дикуую прелесть.

Летика не было; он увлекся; он, вспотев, удил с увлечением азартного игрока. Грэй вышел из чащи в кустарник, разбросанный по скату холма. Дымилась и горела трава; влажные цветы выглядели как дети, насильно умытые холодной водой. Зеленый мир дышал бесчисленностью крошечных ртов, мешая проходить Грэю среди своей ликующей тесноты. Капитан выбрался на открытое место, заросшее пестрой травой, и увидел здесь спящую молодую девушку.

Он тихо отвел рукой ветку и остановился с чувством опасной находки. Не далее как в пяти шагах, свернувшись, подобрал одну ножку и вытянув другую, лежала головой на уютно подвернутых руках утомившаяся Ассоль. Ее волосы сдвинулись в беспорядке; у шеи расстегнулась пуговица, открыв белую ямку; раскинувшаяся юбка обнажала колени; ресницы спали на щеке, в тени нежного, выпуклого виска, полужакрытого темной прядью; мизинец правой руки, бывшей под головой, пригнулся к затылку. Грэй присел на корточки, заглядывая девушке в лицо снизу и не подозревая, что напоминает собой фавна^[43] с картины Арнольда Беклина.

Быть может, при других обстоятельствах эта девушка была бы замечена им *только* глазами, но тут он *иначе* увидел ее. Все стронулось, все усмехнулось в нем. Разумеется, он не знал ни ее, ни ее имени, ни тем более почему она уснула на берегу, но был этим очень доволен. Он любил картины без объяснений и подписей. Впечатление такой картины несравненно сильнее; ее содержание, не связанное словами, становится безграничным, утверждая все догадки и мысли.

Тень листвы подобралась ближе к стволам, а Грэй все еще сидел в той же малоудобной позе. Все спало на девушке: спали темные волосы, спало платье и складки платья; даже трава поблизости ее тела, казалось, задремала в силу сочувствия. Когда впечатление стало полным, Грэй вошел в его теплую подмывающую волну и уплыл с ней. Давно уже Летика кричал: «Капитан, где вы?» – но капитан не слышал его.

^[43] *Фавн* с картины Арнольда Беклина – имеется в виду картина «Фавн в камышах» немецкого живописца швейцарского происхождения А. Бёклина (1827–1901).

Когда он наконец встал, склонность к необычайному застала его врасплох с решимостью и вдохновением раздраженной женщины. Задумчиво уступая ей, он снял с пальца старинное дорогое кольцо, не без основания размышляя, что, может быть, этим подсказывает жизни нечто существенное, подобное орфографии. Он бережно опустил кольцо на малый мизинец, белевший из-под затылка. Мизинец нетерпеливо двинулся и поник. Взглянув еще раз на это отдыхающее лицо, Грэй повернулся и увидел в кустах высоко поднятые брови матроса. Летика, разинув рот, смотрел на занятия Грэя с таким удивлением, с каким, верно, смотрел Иона на пасть своего меблированного кита^[44].

– А, это ты, Летика! – сказал Грэй. – Посмотри-ка на нее. Что, хороша?

– Дивное художественное полотно! – шепотом закричал матрос, любивший книжные выражения. – В соображении обстоятельств есть нечто располагающее. Я поймал четыре мурены и еще какую-то толстую, как пузырь.

– Тише, Летика. Уберемся отсюда.

Они отошли в кусты. Им следовало бы теперь повернуть к лодке, но Грэй медлил, рассматривая даль низкого берега, где над зеленью и песком лился утренний дым труб Каперны. В этом дыме он снова увидел девушку.

Тогда он решительно повернул, спускаясь вдоль склона; матрос, не спрашивая, что случилось, шел сзади; он чувствовал, что вновь наступило обязательное молчание. Уже около первых строений Грэй вдруг сказал:

– Не определишь ли ты, Летика, твоим опытным глазом, где здесь трактир?

– Должно быть, вон та черная крыша, – сообразил Летика, – а впрочем, может, и не она.

– Что же в этой крыше приметного?

– Сам не знаю, капитан. Ничего больше, как голос сердца.

Они подошли к дому; то был действительно трактир Меннерса. В раскрытом окне, на столе, виднелась бутылка; возле нее чья-то грязная рука доила полуседой ус.

Хотя час был ранний, в общей зале трактирчика расположились три человека. У окна сидел угольщик, обладатель пьяных усов, уже замеченных нами; между буфетом и внутренней дверью зала за яичницей и пивом помещались два рыбака. Меннерс, длинный молодой парень, с веснушчатым скучным лицом и тем особенным выражением хитрой бойкости в подслеповатых глазах, какое присуще торгашам вообще, перетирал за стойкой посуду. На грязном полу лежал солнечный переплет окна.

Едва Грэй вступил в полосу дымного света, как Меннерс, почтительно кланяясь, вышел из-за своего прикрытия. Он сразу угадал в Грэе *настоящего* капитана – разряд гостей, редко им виденных. Грэй спросил рома. Накрыв стол пожелтевшей в суете людской скатертью, Меннерс принес бутылку, лизнув предварительно языком кончик отклеившейся этикетки. Затем он вернулся за стойку, поглядывая внимательно то на Грэя, то на тарелку, с которой отдира л ногтем что-то присохшее.

В то время как Летика, взяв стакан обеими руками, скромно шептался с ним, посматривая в окно, Грэй подозвал Меннерса. Хин самодовольно уселся на кончик стула, польщенный этим обращением, и польщенный именно потому, что оно выразилось простым киванием Грэева пальца.

– Вы, разумеется, знаете здесь всех жителей, – спокойно заговорил Грэй. – Меня интересует имя молодой девушки в косынке, в платье с розовыми цветочками, темно-русой и невысокой, в возрасте от семнадцати до двадцати лет. Я встретил ее неподалеку отсюда. Как ее имя?

[44] ...смотрел Иона на пасть своего меблированного кита – ироническое обращение к библейскому сюжету, повествующему, как пророк Иона ослушался Бога и был за это наказан страшным штормом, насланным на корабль, на котором он плыл. Раскайвшись, Иона, спасая своих товарищей, прыгнул за борт в бурлящие воды; но Бог не дал ему погибнуть, послав кита, проглотившего пророка и позднее доставившего его на сушу.

Он сказал это с твердой простотой силы, не позволяющей увильнуть от данного тона. Хин Меннерс внутренне завертелся и даже ухмыльнулся слегка, но внешне подчинился характеру обращения. Впрочем, прежде чем ответить, он помолчал – единственно из бесплодного желания догадаться, в чем дело.

– Гм! – сказал он, поднимая глаза в потолок. – Это, должно быть, Корабельная Ассоль, больше быть некому. Она полоумная.

– В самом деле? – равнодушно сказал Грэй, отпивая крупный глоток. – Как же это случилось?

– Когда так, извольте послушать. – И Хин рассказал Грэю о том, как лет семь назад девочка говорила на берегу моря с собирателем песен. Разумеется, эта история с тех пор, как нищий утвердил ее бытие в том же трактире, приняла очертания грубой и плоской сплетни, но сущность оставалась нетронутой. – С тех пор так ее и зовут, – сказал Меннерс – зовут ее Ассоль Корабельная.

Грэй машинально взглянул на Летику, продолжавшего быть тихим и скромным, затем его глаза обратились к пыльной дороге, пролегающей у трактира, и он ощутил как бы удар – одновременный удар в сердце и голову. По дороге, лицом к нему, шла та самая Корабельная Ассоль, к которой Меннерс только что отнесся *клинически*. Удивительные черты ее лица, напоминающие тайну неизгладимо волнующих, хотя простых слов, предстали перед ним теперь в свете ее взгляда. Матрос и Меннерс сидели к окну спиной, но, чтобы они случайно не повернулись, Грэй имел мужество отвести взгляд на рыжие глаза Хина. После того, как он увидел глаза Ассоль, рассеялась вся косность Меннерсова рассказа. Между тем, ничего не подозревая, Хин продолжал:

– Еще могу сообщить вам, что ее отец сущий мерзавец. Он утопил моего папашу, как кошку какую-нибудь, прости господи. Он...

Его перебил неожиданный дикий рев сзади. Страшно ворочая глазами, угольщик, стряхнув хмельное оцепенение, вдруг рывкнул пением, и так свирепо, что все вздрогнули:

Корзинщик, корзинщик,
Дери с нас за корзины!..

– Опять ты нагрузился, вельбот^[45] проклятый! – закричал Меннерс. – Уходи вон!

...Но только бойся попадать
В наши Палестины!.. –

взвыл угольщик и, как будто ничего не было, потопил усы в плеснувшем стакане.

Хин Меннерс возмущенно пожал плечами.

– Дрянь, а не человек, – сказал он с жутким достоинством скопидома. – Каждый раз такая история!

– Более вы ничего не можете рассказать? – спросил Грэй.

– Я-то? Я же вам говорю, что отец мерзавец. Через него я, ваша милость, осиротел и еще дитёй должен был самостоятельно поддерживать брэнное пропитание...

– Ты врешь, – неожиданно сказал угольщик. – Ты врешь так гнусно и ненатурально, что я протрезвел. – Хин не успел раскрыть рот, как угольщик обратился к Грэю: – Он врет. Его отец тоже врал; врал и мать. Такая порода. Можете быть покойны, что она так же здорова, как мы с вами. Я с ней разговаривал. Она сидела на моей повозке восемьдесят четыре раза или немного меньше. Когда девушка идет пешком из города, а я продал свой уголь, я уж непре-

^[45] Вельбот – длинная быстроходная весельная или парусная шлюпка с острым носом и кормой.

менно посажу девушку. Пускай она сидит. Я говорю, что у нее хорошая голова. Это сейчас видно. С тобой, Хин Меннерс, она, понятно, не скажет двух слов. Но я, сударь, в свободном угольном деле презираю суды и толки. Она говорит как большая, но причудливый ее разговор. Прислушиваешься – как будто все то же самое, что мы с вами сказали бы, а у нее то же, да не совсем так. Вот, к примеру, раз завелось дело о ее ремесле. «Я тебе что скажу, – говорит она и держится за мое плечо, как муха за колокольню, – моя работа не скучная, только все хочется придумать особенно. Я, – говорит, – так хочу изловчиться, чтобы у меня на доске сама плавала лодка, а гребцы гребли бы по-настоящему; потом они пристаут к берегу, отдают причал и честь честью, точно живые, сядут на берегу закусывать». Я, это, захохотал, мне, стало быть, смешно стало. Я говорю: «Ну, Ассоль, это ведь такое твое дело, и мысли поэтому у тебя такие, а вокруг посмотри: все в работе, как в драке». «Нет, – говорит она, – я знаю, что знаю. Когда рыбак ловит рыбу, он думает, что поймает большую рыбу, какой никто не ловил». «Ну а я?» «А ты? – смеется она, – ты, верно, когда наваливаешь углем корзину, то думаешь, что она зацветет». Вот какое слово она сказала! В ту же минуту дернуло меня, сознаюсь, посмотреть на пустую корзину, и так мне вошло в глаза, будто из прутьев поползли почки; лопнули эти почки, брызнуло по корзине листом и пропало. Я малость протрезвел даже! А Хин Меннерс врет и денег не берет; я его знаю!

Считая, что разговор перешел в явное оскорбление, Меннерс пронзил угольщика взглядом и скрылся за стойку, откуда горько осведомился:

– Прикажете подать что-нибудь?

– Нет, – сказал Грэй, доставая деньги, – мы встаем и уходим. Летика, ты останешься здесь, вернешься к вечеру и будешь молчать. Узнав все, что сможешь, передай мне. Ты понял?

– Добрейший капитан, – сказал Летика с некоторой фамильярностью, вызванной ромом, – не понять *этого* может только глухой.

– Прекрасно. Запомни также, что ни в одном из тех случаев, какие могут тебе представиться, нельзя ни говорить обо мне, ни упоминать даже мое имя. Прощай!

Грэй вышел. С этого времени его не покидало уже чувство поразительных открытий, подобно искре в пороховой ступке Бертольда^[46], – одного из тех душевных обвалов, из-под которых вырывается, сверкая, огонь. Дух немедленного действия овладел им. Он опомнился и собрался с мыслями, только когда сел в лодку. Смеясь, он подставил руку ладонью вверх – знойному солнцу, – как сделал это однажды мальчиком в винном погребе; затем отплыл и стал быстро грести по направлению к гавани.

^[46] Пороховая ступка Бертольда – имеется в виду монах Бертольд Шварц (настоящее имя Константин Анклитцен), живший в XIV в. и считающийся изобретателем пороха в Европе.

Глава IV

Накануне

Накануне того дня и через семь лет после того, как Эгль, собиратель песен, рассказал девочке на берегу моря сказку о корабле с Алыми Парусами, Ассоль в одно из своих еженедельных посещений игрушечной лавки вернулась домой расстроенная, с печальным лицом. Свой товар она принесла обратно. Она была так огорчена, что сразу не могла говорить, и только лишь после того, как по встревоженному лицу Лонгрена увидела, что он ожидает чего-то значительно худшего действительности, начала рассказывать, водя пальцем по стеклу окна, у которого стала, рассеянно наблюдая море.

Хозяин игрушечной лавки начал в этот раз с того, что открыл счетную книгу и показал ей, сколько за ними долга. Она содрогнулась, увидев внушительное трехзначное число.

– Вот сколько вы забрали с декабря, – сказал торговец, – а вот посмотри, на сколько продано. – И он уперся пальцем в другую цифру, уже из двух знаков.

– Жалостно и обидно смотреть. Я видела по его лицу, что он груб и сердит. Я с радостью убежала бы, но, честное слово, сил не было от стыда. И он стал говорить: «Мне, милая, это больше невыгодно. Теперь в моде заграничный товар, все лавки полны им, а эти изделия не берут». Так он сказал. Он говорил еще много чего, но я все перепутала и забыла. Должно быть, он сжалился надо мною, так как посоветовал сходить в «Детский базар» и «Аладдинову лампу».

Выговорив самое главное, девушка повернула голову, робко посмотрев на старика. Лонгрэн сидел понурясь, сцепив пальцы рук между колен, на которые оперся локтями. Чувствуя взгляд, он поднял голову и вздохнул. Поборов тяжелое настроение, девушка подбежала к нему, устроилась сидеть рядом и, продев свою легкую руку под кожаный рукав его куртки, смеясь и заглядывая отцу снизу в лицо, продолжала с деланным оживлением:

– Ничего, это все ничего, ты слушай, пожалуйста. Вот я пошла. Ну-с, прихожу в большой страшнейший магазин; там куча народу. Меня затолкали; однако я выбралась и подошла к черному человеку в очках. Что я ему сказала, я ничего не помню; под конец он усмехнулся, порылся в моей корзине, посмотрел кое-что, потом снова завернул, как было, в платок и отдал обратно.

Лонгрэн сердито слушал. Он как бы видел свою оторопевшую дочку в богатой толпе у прилавка, заваленного ценным товаром. Аккуратный человек в очках снисходительно объяснял ей, что он должен разориться, ежели начнет торговать нехитрыми изделиями Лонгрена. Небрежно и ловко ставил он перед ней на прилавок складные модели зданий и железнодорожных мостов; миниатюрные отчетливые автомобили, электрические наборы, аэропланы и двигатели. Все это пахло краской и школой. По всем его словам выходило, что дети в играх только подражают теперь тому, что делают взрослые.

Ассоль была еще в «Аладдиновой лампе» и в двух других лавках, но ничего не добилась.

Оканчивая рассказ, она собрала ужинать: поев и выпив стакан крепкого кофе, Лонгрэн сказал:

– Раз нам не везет, надо искать. Я, может быть, снова поступлю служить – на «Фицроя» или «Палермо». Конечно, они правы, – задумчиво продолжал он, думая об игрушках. – Теперь дети не играют, а учатся. Они все учатся, учатся и никогда не начнут жить. Все это так, а жаль, право, жаль. Сумеешь ли ты прожить без меня время одного рейса? Немыслимо оставить тебя одну.

– Я также могла бы служить вместе с тобой; скажем, в буфете.

– Нет! – Лонгрэн припечатал это слово ударом ладони по вздрогнувшему столу. – Пока я жив, ты служить не будешь. Впрочем, есть время подумать.

Он хмуро умолк. Ассоль примостилась рядом с ним на углу табурета; он видел сбоку, не поворачивая головы, что она хлопчет утешить его, и чуть было не улыбнулся. Но улыбнуться – значило спугнуть и смутить девушку. Она, приговаривая что-то про себя, разгладила его спутанные седые волосы, поцеловала в усы и, заткнув мохнатые отцовские уши своими маленькими тоненькими пальцами, сказала: «Ну вот, теперь ты не слышишь, что я тебя люблю». Пока она охорашивала его, Лонгрен сидел, крепко сморщившись, как человек, боящийся дохнуть дымом, но, услышав ее слова, густо захохотал.

– Ты милая, – просто сказал он и, потрепав девушку по щеке, пошел на берег посмотреть лодку.

Ассоль некоторое время стояла в раздумье посреди комнаты, колеблясь между желанием отдаться тихой печали и необходимостью домашних забот; затем, вымыв посуду, пересмотрела в шкапу остатки провизии. Она не взвешивала и не мерила, но видела, что с мукой не дотянуть до конца недели, что в жестянке с сахаром виднеется дно, обертки с чаем и кофе почти пусты, нет масла, и единственное, на чем, с некоторой досадой на исключение, отдыхал глаз, – был мешок картофеля. Затем она вымыла пол и села строчить оборку к переделанной из старья юбке, но, тут же вспомнив, что обрезки материи лежат за зеркалом, подошла к нему и взяла сверток; потом взглянула на свое отражение.

За ореховой рамой в светлой пустоте отраженной комнаты стояла тоненькая невысокая девушка, одетая в дешевый белый муслин^{47} с розовыми цветочками. На ее плечах лежала серая шелковая косынка. Полудетское, в светлом загаре лицо было подвижно и выразительно; прекрасные, несколько серьезные для ее возраста глаза посматривали с робкой сосредоточенностью глубоких душ. Ее неправильное личико могло растрогать тонкой чистотой очертаний: каждый изгиб, каждая выпуклость этого лица, конечно, нашли бы место в множестве женских обликов, но их совокупность, стиль был совершенно оригинален, оригинально мил; на этом мы остановимся. Остальное неподвластно словам, кроме слова «очарование».

Отраженная девушка улыбнулась так же безотчетно, как и Ассоль. Улыбка вышла грустной; заметив это, она встревожилась, как если бы смотрела на постороннюю. Она прижалась щекой к стеклу, закрыла глаза и тихо погладила зеркало рукой там, где приходилось ее отражение. Рой смутных, ласковых мыслей мелькнул в ней; она выпрямилась, засмеялась и села, начав шить.

Пока она шьет, посмотрим на нее ближе – вовнутрь. В ней *две* девушки, *две* Ассоль, перемешанных в замечательной прекрасной неправильности. Одна была дочь матроса, ремесленника, мастерица игрушки, другая – живое стихотворение, со всеми чудесами его созвучий и образов, с тайной соседства слов, во всей взаимности их теней и света, падающих от одного на другое. Она знала жизнь в пределах, поставленных ее опыту, но сверх общих явлений видела отраженный смысл *многого* порядка. Так, всматриваясь в предметы, мы замечаем в них нечто не линейно, но впечатлением – определенно человеческое, и – так же, как человеческое – различное. Нечто подобное тому, что (если удалось) сказали мы этим примером, видела она еще *сверх* видимого. Без этих тихих завоеваний все просто понятное было чуждо ее душе. Она умела и любила читать, но и в книге читала преимущественно между строк, как жила. Бессознательно, путем своеобразного вдохновения она делала на каждом шагу множество эфирно-тонких открытий, невыразимых, но важных, как чистота и тепло. Иногда – и это продолжалось ряд дней – она даже перерождалась; физическое противостояние жизни проваливалось, как тишина в ударе смычка, и все, что она видела, чем жила, что было вокруг, становилось кружевом тайн в образе повседневности. Не раз, волнуясь и робея, она уходила ночью на морской берег, где, выждав рассвет, совершенно серьезно высматривала корабль с Алыми Парусами.

^{47} Муслин – легкая тонкая ткань.

Эти минуты были для нее счастьем; нам трудно так уйти в сказку, ей было бы не менее трудно выйти из ее власти и обаяния.

В другое время, размышляя обо всем этом, она искренно дивилась себе, не веря, что верила, улыбкой прощая море и грустно переходя к действительности; теперь, сдвигая оборку, девушка припоминала свою жизнь. Там было много скуки и простоты. Одиночество вдвоем, случалось, безмерно тяготило ее, но в ней образовалась уже та складка внутренней робости, та страдальческая морщинка, с которой не внести и не получить оживления. Над ней посмеивались, говоря: «Она тронутая, не в себе»; она привыкла и к этой боли; девушке случалось даже переносить оскорбления, после чего ее грудь ныла, как от удара. Как женщина она была непопулярна в Каперне, однако многие подозревали, хотя дико и смутно, что ей дано больше прочих – лишь *на другом языке*. Капернцы обожали плотных, тяжелых женщин с масляной кожей толстых икр и могучих рук; здесь ухаживали, ляпая по спине ладонью и толкаясь, как на базаре. Тип этого чувства напоминал бесхитростную простоту рева. Ассоль так же подходила к этой решительной среде, как подошло бы людям изысканной нервной жизни общество привидения, обладай оно всем обаянием Ассунты или Аспазии^[48]: то, что от любви, – здесь немислимо. Так, в ровном гудении солдатской трубы прелестная печаль скрипки бессильна вывести суровый полк из действий его прямых линий. К тому, что сказано в этих строках, девушка стояла спиной.

Меж тем как ее голова мурлыкала песенку жизни, маленькие руки работали прилежно и ловко; откусывая нитку, она смотрела далеко перед собой, но это не мешало ей ровно подвертывать рубец и класть петельный шов с отчетливостью швейной машины. Хотя Лонгрен не возвращался, она не беспокоилась об отце. Последнее время он довольно часто уплывал ночью ловить рыбу или просто проветриться.

Ее не теребил страх; она знала, что ничего худого с ним не случится. В этом отношении Ассоль была все еще той маленькой девочкой, которая молилась по-своему, дружелюбно лепеча утром: «Здравствуй, Бог!», а вечером: «Прощай, Бог!»

По ее мнению, такого короткого знакомства с Богом было совершенно достаточно для того, чтобы он отстранил несчастье. Она входила и в его положение: Бог был вечно занят делами миллионов людей, поэтому к обыденным теням жизни следовало, по ее мнению, относиться с деликатным терпением гостя, который, застав дом полным народа, ждет захлопотавшегося хозяина, ютятся и питаются по обстоятельствам.

Кончив шить, Ассоль сложила работу на угловом столике, разделась и улеглась. Огонь был потушен. Она скоро заметила, что нет сонливости; сознание было ясно, как в разгаре дня, даже тьма казалась искусственной; тело, как и сознание, чувствовалось легким, дневным. Сердце отстукивало с быстротой карманных часов; оно билось как бы между подушкой и ухом. Ассоль сердилась, ворочаясь, то сбрасывая одеяло, то завертываясь в него с головой. Наконец ей удалось вызвать привычное представление, помогающее уснуть: она мысленно бросала камни в светлую воду, смотря на расхождение легчайших кругов. Сон действительно как бы лишь ждал этой подачи; он пришел, пошептался с Мери, стоящей у изголовья, и, повинувшись ее улыбке, сказал вокруг: «Шшшш». Ассоль тотчас уснула. Ей снился любимый сон: цветущие деревья, тоска, очарование, песни и таинственные явления, из которых, проснувшись, она припоминала лишь сверканье синей воды, подступающей от ног к сердцу с холодом и восторгом. Увидев все это, она побыла еще несколько времени в невозможной стране, затем проснулась и села.

Сна не было, как если бы она не засыпала совсем. Чувство новизны, радости и желания что-то сделать согревало ее. Она осмотрелась тем взглядом, каким оглядывают новое помеще-

^[48] Аспазия (р. ок. 470 г. до н. э.) – афинская гетера, славившаяся своей красотой и умом, в чьем доме собирались художники, поэты и философы. С 445 г. до н. э. жена афинского государственного деятеля и полководца Перикла (ок 490–429 до н. э.).

ние. Проник рассвет – не всей ясностью озарения, но тем смутным усилием, в котором можно понимать окружающее. Низ окна был черен; верх просветлел. Извне дома, почти на краю рамы, блестела утренняя звезда. Зная, что теперь не уснет, Ассоль оделась, подошла к окну и, сняв крюк, отвела раму. За окном стояла внимательная, чуткая тишина; она как бы наступила только сейчас. В синих сумерках мерцали кусты, подальше спали деревья; веяло духотой и землей.

Держась за верх рамы, девушка смотрела и улыбалась. Вдруг нечто подобное отдаленному зову всколыхнуло ее изнутри и вовне, и она как бы проснулась еще раз от явной действительности к тому, что явнее и несомненное. С этой минуты ликующее богатство сознания не оставляло ее. Так, понимая, слушаем мы речи людей, но, если повторить сказанное, пойдем еще раз, с иным, новым значением. То же было и с ней.

Взяв старенькую, но на ее голове всегда юную шелковую косынку, она прихватила ее рукою под подбородком, заперла дверь и выпорхнула босиком на дорогу. Хотя было пусто и глухо, но ей казалось, что она звучит как оркестр, что ее могут услышать. Все было мило ей, все радовало ее. Теплая пыль щекотала босые ноги; дышалось ясно и весело. На сумеречном просвете неба темнели крыши и облака; дремали изгороди, шиповник, огороды, сады и нежно видимая дорога. Во всем замечался иной порядок, чем днем, – тот же, но в ускользнувшем ранее соответствии. Все спало с открытыми глазами, тайно рассматривая проходящую девушку.

Она шла чем далее, тем быстрее, торопясь покинуть селение. За Каперной простирались луга; за лугами по склонам береговых холмов росли орешник, тополи и каштаны. Там, где дорога кончилась, переходя в глухую тропу, у ног Ассоль мягко завертелась пушистая черная собака с белой грудью и говорящим напряжением глаз. Собака, узнав Ассоль, повизгивая и жеманно виляя туловищем, пошла рядом, молча соглашаясь с девушкой в чем-то понятном, как «я» и «ты». Ассоль, посматривая в ее общительные глаза, была твердо уверена, что собака могла бы заговорить, не будь у нее тайных причин молчать. Заметив улыбку спутницы, собака весело сморщилась, вильнула хвостом и ровно побежала вперед, но вдруг безучастно села, деловито выскребла лапой ухо, укушенное своим вечным врагом, и побежала обратно.

Ассоль проникла в высокую, брызгающую росой луговую траву; держа руку ладонью вниз над ее метелками, она шла, улыбаясь струящемуся прикосновению. Засматривая в особенные лица цветов, в путаницу стеблей, она различала там почти человеческие намеки – позы, усилия, движения, черты и взгляды; ее не удивила бы теперь процессия полевых мышей, бал сусликов или грубое веселье ежа, пугающего спящего гнома своим фуканьем. И точно, еж, серея, выкатился перед ней на тропинку. «Фук-фук», – отрывисто сказал он с сердцем, как извозчик на пешехода. Ассоль говорила с теми, кого понимала и видела. «Здравствуй, больной», – сказала она лиловому ирису, пробитому до дыр червем. «Необходимо посидеть дома» – это относилось к кусту, застрявшему среди тропы и потому обдерганному платьем прохожих. Большой жук цеплялся за колокольчик, сгибая растение и сваливаясь, но упрямо толкаясь лапками. «Страхни толстого пассажира», – посоветовала Ассоль. Жук, точно, не удержался и с треском полетел в сторону. Так, волнуясь, трепеща и блестя, она подошла к склону холма, скрывшись в его зарослях от лугового пространства, но окруженная теперь истинными своими друзьями, которые – она знала это – говорят басом.

То были крупные старые деревья среди жимолости и орешника. Их свисшие ветви касались верхних листьев кустов. В спокойно тяготеющей крупной листве каштанов стояли белые шишки цветов, их аромат мешался с запахом росы и смолы. Тропинка, усеянная выступами скользких корней, то падала, то взбиралась на склон. Ассоль чувствовала себя как дома; здоровалась с деревьями как с людьми, то есть пожимая их широкие листья. Она шла, шепча то мысленно, то словами: «Вот ты, вот другой ты; много же вас, братцы мои! Я иду, братцы, спешу, пустите меня. Я вас узнаю всех, всех помню и почитаю». «Братцы» величественно гладили ее чем могли – листьями – и родственно скрипели в ответ. Она выбралась, перепачкав

ноги землей, к обрыву над морем и встала на краю обрыва, задыхаясь от поспешной ходьбы. Глубокая непобедимая вера, ликуя, пенилась и шумела в ней. Она разбрасывала ее взглядом за горизонт, откуда легким шумом береговой волны возвращалась она обратно, гордая чистой полетом. Тем временем море, обведенное по горизонту золотой нитью, еще спало; лишь под обрывом, в лужах береговых ям, вздымалась и опадала вода. Стальной у берега цвет спящего океана переходил в синий и черный. За золотой нитью небо, вспыхивая, сияло огромным веером света; белые облака тронулись слабым румянцем. Тонкие, божественные цвета светились в них. На черной дали легла уже трепетная снежная белизна; пена блестела, и багровый разрыв, вспыхнув среди золотой нити, бросил по океану, к ногам Ассоль, алую рябь.

Она села, подобрав ноги, с руками вокруг колен. Внимательно наклоняясь к морю, смотрела она на горизонт большими глазами, в которых не осталось уже ничего взрослого, – глазами ребенка. Все, чего она ждала так долго и горячо, делалось там – на краю света. Она видела в стране далеких пучин подводный холм; от поверхности его струились вверх вьющиеся растения; среди их круглых листьев, пронизанных у края стеблем, сияли причудливые цветы. Верхние листья блестели на поверхности океана; тот, кто ничего не знал, как знала Ассоль, видел лишь трепет и блеск.

Из заросли поднялся корабль; он всплыл и остановился по самой середине зари. Из этой дали он был виден ясно, как облака. Разбрасывая веселье, он пылал, как вино, роза, кровь, уста, алый бархат и пунцовый огонь. Корабль шел прямо к Ассоль. Крылья пены трепетали под мощным напором его киля; уже встав, девушка прижала руки к груди, как чудная игра света перешла в зыбь; взошло солнце, и яркая полнота утра сдернула покровы со всего, что еще нежилась, потягиваясь на сонной земле.

Девушка вздохнула и осмотрелась. Музыка смолкла, но Ассоль была еще во власти ее звонкого хора. Это впечатление постепенно ослабевало, затем стало воспоминанием и, наконец, просто усталостью. Она легла на траву, зевнула и, блаженно закрыв глаза, уснула – настоящему, крепкому, как молодой орех, сном, без заботы и сновидений.

Ее разбудила муха, бродившая по голой ступне. Беспокойно повертев ножкой, Ассоль проснулась; сидя, закалывала она растрепанные волосы, поэтому кольцо Грэй напомнило о себе, но, считая его не более как стебельком, застрявшим меж пальцев, она распрямила их; так как помеха не исчезла, она нетерпеливо поднесла руку к глазам и выпрямилась, мгновенно вскочив с силой брызнувшего фонтана.

На ее пальце блестело лучистое кольцо Грэй, как на чужом, – *своим* не могла признать она в этот момент, не чувствовала палец свой. «Чья это шутка? Чья шутка? – стремительно вскричала она. – Разве я сплю? Может быть, нашла и забыла?» Схватив левой рукой правую, на которой было кольцо, с изумлением осматривалась она, пытая взглядом море и зеленые заросли; но никто не шевелился, никто не притаился в кустах, и в синем, далеко озаренном море не было никакого знака, и румянец покрыл Ассоль, а голоса сердца сказали вешее «да». Не было объяснений случившемуся, но без слов и мыслей находила она их в странном чувстве своем, и уже близким ей стало кольцо. Вся дрожа, сдернула она его с пальца; держа в пригоршне, как воду, рассмотрела его она – всею душою, всем сердцем, всем ликованием и ясным суеверием юности, затем, спрятав за лиф, Ассоль уткнула лицо в ладони, из-под которых неудержимо рвалась улыбка, и, опустив голову, медленно пошла обратной дорогой.

Так – *случайно*, как говорят люди, умеющие читать и писать, – Грэй и Ассоль нашли друг друга утром летнего дня, полного неизбежности.

Глава V

Боевые приготовления

Когда Грэй поднялся на палубу «Секрета», он несколько минут стоял неподвижно, поглаживая рукой голову сзади на лоб, что означало крайнее замешательство. Рассеянность – облачное движение чувств – отражалась в его лице бесчувственной улыбкой лунатика. Его помощник Пантен шел в это время по шканцам с тарелкой жареной рыбы; увидев Грэя, он заметил странное состояние капитана.

– Вы, быть может, ушиблись? – осторожно спросил он. – Где были? Что видели? Впрочем, это, конечно, ваше дело. Маклер предлагает выгодный фрахт^{49}, с премией. Да что с вами такое?..

– Благодарю, – сказал Грэй, вздохнув, как развязанный. – Мне именно не доставало звуков вашего простого, умного голоса. Это как холодная вода. Пантен, сообщите людям, что сегодня мы поднимаем якорь и переходим в устье Либианы, миль десять отсюда. Ее течение перебито сплошными мелями. Проникнуть в устье можно лишь с моря. Придите за картой. Лоцмана^{50} не брать. Пока все... Да, выгодный фрахт мне нужен как прошлогодний снег. Можете передать это маклеру. Я отправляюсь в город, где пробуду до вечера.

– Что же случилось?

– Решительно ничего, Пантен. Я хочу, чтобы вы приняли к сведению мое желание избегать всяких расспросов. Когда наступит момент, я сообщу вам, в чем дело. Матросам скажите, что предстоит ремонт, что местный док занят.

– Хорошо, – бессмысленно сказал Пантен в спину уходящего Грэя. – Будет исполнено.

Хотя распоряжения капитана были вполне толковы, помощник вытаращил глаза и беспокойно помчался с тарелкой к себе в каюту, бормоча: «Пантен, тебя озадачили. Не хочет ли он попробовать контрабанды? Не выступаем ли мы под черным флагом пирата?» Но здесь Пантен запутался в самых диких предположениях. Пока он нервически уничтожал рыбу, Грэй спустился в каюту, взял деньги и, переехав бухту, появился в торговых кварталах Лисса.

Теперь он действовал уже решительно и покойно, до мелочи зная все, что предстоит на чудном пути. Каждое движение – мысль, действие – грело его тонким наслаждением художественной работы. Его план сложился мгновенно и выпукло. Его понятия о жизни подверглись тому последнему набегу резца, после которого мрамор спокоен в своем прекрасном сиянии.

Грэй побывал в трех лавках, придавая особенное значение точности выбора, так как мысленно видел уже нужный цвет и оттенок. В двух первых лавках ему показали шелка базарных цветов, предназначенные удовлетворить незатейливое тщеславие; в третьей он нашел образцы сложных эффектов. Хозяин лавки радостно суетился, выкладывая залежавшиеся материи, но Грэй был серьезен, как анатом. Он терпеливо разбирал свертки, откладывал, сдвигал, развешивал и смотрел на свет такое множество алых полос, что прилавок, заваленный ими, казалось, вспыхнет. На носок сапога Грэя легла пурпурная волна; на его руках и лице блеснул розовый отсвет. Роясь в легком сопротивлении шелка, он различал цвета: красный, бледный розовый и розовый темный; густые закипы вишневых, оранжевых и мрачно-рыжих тонов; здесь были оттенки всех сил и значений, различные в своем мнимом родстве, подобно словам: «очаровательно» – «прекрасно» – «великолепно» – «совершенно»; в складках таились намеки, недоступные языку зрения, но истинный алый цвет долго не представлялся глазам нашего капитана; что приносил лавочник, было хорошо, но не вызывало ясного и твердого «да». Наконец один цвет привлек обезоруженное внимание покупателя; он сел в кресло к окну, вытянул из

^{49} *Фрахт* – плата за перевозку груза (обычно водным транспортом).

^{50} *Лоцман* – специалист по проводке судов в пределах определенного участка.

шумного шелка длинный конец, бросил его на колени и, развалясь, с трубкой в зубах, стал созерцательно неподвижен.

Этот совершенно чистый, как алая утренняя струя, полный благородного веселья и царственности цвет являлся именно тем гордым цветом, какой разыскивал Грэй. В нем не было смешанных оттенков огня, лепестков мака, игры фиолетовых или лиловых намеков; не было также ни синевы, ни тени – ничего, что вызывает сомнение. Он рдел, как улыбка, прелестью духовного отражения. Грэй так задумался, что позабыл о хозяине, ожидавшем за его спиной с напряжением охотничьей собаки, сделавшей стойку. Устав ждать, торговец напомнил о себе треском оторванного куска материи.

– Довольно образцов, – сказал Грэй, вставая, – этот шелк я беру.

– Весь кусок? – почтительно сомневаясь, спросил торговец. Но Грэй молча смотрел ему в лоб, отчего хозяин лавки сделался немного развязнее. – В таком случае сколько метров?

Грэй кивнул, приглашая повременить, и высчитал карандашом на бумаге требуемое количество.

– Две тысячи метров. – Он с сомнением осмотрел полки. – Да, не более двух тысяч метров.

– Две? – сказал хозяин, судорожно подсакивая, как пружинный. – Тысячи? Метров? Прошу вас сесть, капитан. Не желаете ли взглянуть, капитан, образцы новых материй? Как вам будет угодно. Вот спички, вот прекрасный табак, прошу вас. Две тысячи... две тысячи по... – Он сказал цену, имеющую такое же отношение к настоящей, как клятва к простому «да», но Грэй был доволен, так как не хотел ни в чем торговаться. – Удивительный, наилучший шелк, – продолжал лавочник, – товар вне сравнения, только у меня найдете такой.

Когда он наконец весь изшел восторгом, Грэй договорился с ним о доставке, взяв на свой счет издержки, уплатил по счету и ушел, провожаемый хозяином с почестями китайского короля. Тем временем через улицу от того места, где была лавка, бродячий музыкант, настроив виолончель, заставил ее тихим смычком говорить грустно и хорошо; его товарищ, флейтист, осыпал пение струн лепетом горлового свиста; простая песенка, которую они огласили дремлющий в жаре двор, достигла ушей Грэя, и тотчас он понял, что следует ему делать дальше. Вообще все эти дни он был на той счастливой высоте духовного зрения, с которой отчетливо замечались им все намеки и подсказы действительности; услыша заглушаемые ездой экипажей звуки, он вошел в центр важнейших впечатлений и мыслей, вызванных, сообразно его характеру, этой музыкой, уже чувствуя, почему и как выйдет хорошо то, что придумал. Минував переулок, Грэй прошел в ворота дома, где состоялось музыкальное выступление. К тому времени музыканты собрались уходить; высокий флейтист с видом забитого достоинства благодарно махал шляпой тем окнам, откуда вылетали монеты. Виолончель уже вернулась под мышку своего хозяина; тот, вытирая вспотевший лоб, дожидался флейтиста.

– Ба, да это ты, Циммер! – сказал ему Грэй, признавая скрипача, который по вечерам веселил своей прекрасной игрой моряков, гостей трактира «Деньги на бочку». – Как же ты изменил скрипке?

– Досточтимый капитан, – самодовольно возразил Циммер, – я играю на всем, что звучит и трещит. В молодости я был музыкальным клоуном. Теперь меня тянет к искусству, и я с горем вижу, что погубил незаурядное дарование. Поэтому-то я из поздней жадности люблю сразу двух: виолу и скрипку. На виолончели играю днем, а на скрипке по вечерам, то есть как бы плачу, рыдаю о погибшем таланте. Не угостите ли винцом, а? Виолончель – это моя Кармен^[51], а скрипка...

– Ассоль, – сказал Грэй.

^[51] *Кармен* – героиня одноименной новеллы французского писателя П. Мериме (1803–1870) и поставленной по ее сюжету оперы (1874) французского композитора Ж. Бизе (1838–1875); натура страстная и свободолюбивая.

Циммер не расслышал.

– Да, – кивнул он, – соло на тарелках или медных трубочках – другое дело. Впрочем, что мне?! Пусть кривляются паяцы искусства – я знаю, что в скрипке и виолончели всегда отдыхают феи.

– А что скрывается в моем «тур-люр-лю»? – спросил подошедший флейтист, рослый детина с бараньими голубыми глазами и белокурой бородой. – Ну-ка, скажи?

– Смотря по тому, сколько ты выпил с утра. Иногда – птица, иногда – спиртные пары. Капитан, это мой компаньон Дусс; я говорил ему, как вы сорите золотом, когда пьете, и он заочно влюблен в вас.

– Да, – сказал Дусс, – я люблю жест и щедрость. Но я хитер, не верьте моей гнусной лести.

– Вот что, – сказал, смеясь, Грэй. – У меня мало времени, а дело не терпит. Я предлагаю вам хорошо заработать. Соберите оркестр, но не из щеголей с парадными лицами мертвецов, которые в музыкальном буквоедстве или – что еще хуже – в звуковой гастрономии забыли о душе музыки и тихо мертвят эстрады своими замысловатыми шумами, – нет. Соберите своих, заставляющих плакать простые сердца кухарок и лакеев; соберите своих бродяг. Море и любовь не терпят педантов. Я с удовольствием посидел бы с вами, и даже не за одной бутылкой, но нужно идти. У меня много дела. Возьмите это и пропейте за букву А. Если вам нравится мое предложение, приезжайте повечеру на «Секрет»; он стоит неподалеку от головной дамбы.

– Согласен! – вскричал Циммер, зная, что Грэй платит как царь. – Дусс, кланяйся, скажи «да» и верти шляпой от радости! Капитан Грэй хочет жениться!

– Да, – просто сказал Грэй. – Все подробности я вам сообщу на «Секрете». Вы же...

– За букву А! – Дусс, толкнув локтем Циммера, подмигнул Грэю. – Но... как много букв в алфавите! Пожалуйста что-нибудь и на фиту...^[52]

Грэй дал еще денег. Музыканты ушли. Тогда он зашел в комиссионную контору и дал тайное поручение за крупную сумму – выполнить срочно, в течение шести дней. В то время как Грэй вернулся на свой корабль, агент конторы уже садился на пароход. К вечеру привезли шелк; пять парусников, нанятых Грэем, поместились с матросами; еще не вернулся Летика и не прибыли музыканты; в ожидании их Грэй отправился потолковать с Пантенем.

Следует заметить, что Грэй в течение нескольких лет плавал с одним составом команды. Вначале капитан удивлял матросов капризами неожиданных рейсов, остановок – иногда месячных – в самых неторговых и безлюдных местах, но постепенно они прониклись «грэизмом» Грэя. Он часто плавал с одним балластом^[53], отказываясь брать выгодный фрахт только потому, что не нравился ему предложенный груз. Никто не мог уговорить его везти мыло, гвозди, части машин и другое, что мрачно молчит в трюмах, вызывая безжизненные представления скучной необходимости. Но он охотно грузил фрукты, фарфор, животных, пряности, чай, табак, кофе, шелк, ценные породы деревьев: черное, сандал, пальму. Все это отвечало аристократизму его воображения, создавая живописную атмосферу; неудивительно, что команда «Секрета», воспитанная, таким образом, в духе своеобразности, посматривала несколько свысока на все иные суда, окутанные дымом плоской наживы. Все-таки в этот раз Грэй встретил вопросы в физиономиях; самый тупой матрос отлично знал, что нет надобности производить ремонт в русле лесной реки.

Пантен, конечно, сообщил им приказание Грэя; когда тот вошел, помощник его докуривал шестую сигару, бродя по каюте, ошалев от дыма и натыкаясь на стулья. Наступал вечер;

^[52] *Фита* – одна из последних букв в русском алфавите до исключившей ее реформы алфавита 1918 г.

^[53] *Балласт* – груз, специально принимаемый на судно для улучшения его мореходных качеств, когда полезного груза на судне недостаточно.

сквозь открытый иллюминатор торчала золотистая балка света, в которой вспыхнул лакированный козырек капитанской фуражки.

– Все готово, – мрачно сказал Пантен. – Если хотите, можно поднимать якорь.

– Вы должны бы, Пантен, знать меня несколько лучше, – мягко заметил Грэй. – Нет тайны в том, что я делаю. Как только мы бросим якорь на дно Лилианы, я расскажу все, и вы не будете тратить так много спичек на плохие сигары. Ступайте, снимайтесь с якоря.

Пантен, неловко усмехаясь, почесал бровь.

– Это, конечно, так, – сказал он. – Впрочем, я ничего.

Когда он вышел, Грэй посидел несколько времени, неподвижно смотря в полуоткрытую дверь, затем перешел к себе. Здесь он то сидел, то ложился, то, прислушиваясь к треску брашпиля, выкатывающего громкую цепь, собирался выйти на бак, но вновь задумывался и возвращался к столу, чертя по клеенке пальцем прямую быструю линию. Удар кулаком в дверь вывел его из маниакального состояния; он повернул ключ, впустив Летику. Матрос, тяжело дыша, остановился с видом гонца, вовремя предупредившего казнь.

– «Лети-ка, Летика», – сказал я себе, – быстро заговорил он, – когда я с кабельного мола увидел, как танцуют вокруг брашпиля наши ребята, поплеывая в ладони. У меня глаз как у орла. И я полетел; я так дышал на лодочника, что человек вспотел от волнения. Капитан, вы хотели оставить меня на берегу?

– Летика, – сказал Грэй, присматриваясь к его красным глазам, – я ожидал тебя не позже утра. Лил ли ты на затылок холодную воду?

– Лил. Не столько, сколько было принято внутрь, но лил. Все сделано.

– Говори.

– Не стоит говорить, капитан; вот здесь все записано. Берите и читайте. Я очень старался. Я уйду.

– Куда?

– Я вижу по укоризне глаз ваших, что еще мало лил на затылок холодной воды.

Он повернулся и вышел со странными движениями слепого. Грэй развернул бумажку; карандаш, должно быть, дивился, когда выводил по ней эти чертежи, напоминающие распатанный забор. Вот что писал Летика:

«Сообразно инструкции. После пяти часов ходил по улице. Дом с серой крышей, по два окна сбоку; при нем огород. Означенная особа приходила два раза: за водой раз, за щепками для плиты два. По наступлении темноты проник взглядом в окно, но ничего не увидел по причине занавески».

Затем следовало несколько указаний семейного характера, добытых Летикой, видимо, путем застольного разговора, так как мемуарий заканчивался несколько неожиданно словами: «В счет расходов приложил малость своих».

Но существо этого донесения говорило лишь о том, что мы знаем из первой главы. Грэй положил бумажку в стол, свистнул вахтенного и послал за Пантенем, но вместо помощника явился боцман Атвуд, обдергивая засученные рукава.

– Мы ошвартовались у дамбы, – сказал он. – Пантен послал узнать, что вы хотите. Он занят: на него напали там какие-то люди с трубами, барабанами и другими скрипками. Вы звали их на «Секрет»? Пантен просит вас прийти, говорит, у него туман в голове.

– Да, Атвуд, – сказал Грэй, – я, точно, звал музыкантов; подите скажите им, чтобы шли пока в кубрик^[54]. Далее будет видно, как их устроить. Атвуд, скажите им и команде, что я выйду на палубу через четверть часа. Пусть соберутся. Вы и Пантен, разумеется, тоже слушаете меня.

^[54] Кубрик – жилое помещение для судовой команды.

Атвуд взвел, как курок, левую бровь, постоял боком у двери и вышел. Эти десять минут Грэй провел, закрыв руками лицо; он ни к чему не приготавливался и ничего не рассчитывал, но хотел мысленно помолчать. Тем временем его ждали уже все, нетерпеливо и с любопытством, полным догадок. Он вышел и увидел по лицам ожидание невероятных вещей, но так как сам находил совершающееся вполне естественным, то напряжение чужих душ отразилось в нем легкой досадой.

– Ничего особенного, – сказал Грэй, присаживаясь на трап мостика. – Мы простоим в устье реки до тех пор, пока не сменим весь такелаж^[55]. Вы видели, что привезен красный шелк; из него под руководством парусного мастера Блента смастерят «Секрету» новые паруса. Затем мы отправимся, но куда – не скажу; во всяком случае, недалеко отсюда. Я еду к жене. Она еще не жена мне, но будет ею. Мне нужны алые паруса, чтобы еще издали, как условлено с нею, она заметила нас. Вот все. Как видите, здесь нет ничего таинственного. И довольно об этом.

– Да, – сказал Атвуд, видя по улыбающимся лицам матросов, что они приятно озадачены и не решаются говорить. – Так вот в чем дело, капитан... Не нам, конечно, судить об этом. Как желаете, так и будет. Я поздравляю вас.

– Благодарю! – Грэй сильно сжал руку боцмана, но тот, сделав невероятное усилие, ответил таким пожатием, что капитан уступил.

После этого подошли все, сменяя друг друга застенчивой теплотой взгляда и бормоча поздравления. Никто не крикнул, не зашумел – нечто не совсем простое чувствовали матросы в отрывистых словах капитана. Пантен облегченно вздохнул и повеселел – его душевная тяжесть растаяла. Один корабельный плотник остался чем-то недоволен. Вяло подержав руку Грэя, он мрачно спросил:

– Как это вам пришло в голову, капитан?

– Как удар твоего топора, – сказал Грэй. – Циммер! Покажи своих ребятишек.

Скрипач, хлопая по спине музыкантов, вытолкнул семь человек, одетых крайне неряшливо.

– Вот, – сказал Циммер, – это – тромбон; не играет, а палит, как из пушки. Эти два без-усых молодца – фанфары; как заиграют, так сейчас же хочется воевать. Затем кларнет, корнет-а-пистон и вторая скрипка. Все они – великие мастера обнимать резвую приму, то есть меня. А вот и главный хозяин нашего веселого ремесла – Фриц, барабанщик. У барабанщиков, знаете, обычно – разочарованный вид, но *этот* бьет с достоинством, с увлечением. В его игре есть что-то открытое и прямое, как его палки. Так ли все сделано, капитан Грэй?

– Изумительно, – сказал Грэй. – Всем вам отведено место в трюме, который на этот раз, значит, будет погружен разными «скерцо»^[56], «адажио»^[57] и «фортиссимо»^[58]. Разойдитесь. Пантен, снимайте швартовы, трогайтесь. Я вас сменю через два часа.

Этих двух часов он не заметил, так как они прошли все в той же внутренней музыке, не оставлявшей его сознания, как пульс не оставляет артерий. Он думал об одном, хотел одного, стремился к одному. Человек действия, он мысленно опережал ход событий, жалея лишь о том, что ими нельзя двигать так же просто и скоро, как шашками. Ничто в спокойной наружности его не говорило о том напряжении чувства, гул которого, подобно гулу огромного колокола, бьющего над головой, мчался во всем его существе оглушительным нервным стоном. Это довело его наконец до того, что он стал считать мысленно: «Один... два... тридцать...» – и так далее, пока не сказал «тысяча». Такое упражнение подействовало: он был способен наконец взглянуть со стороны на все предприятие. Здесь несколько удивило его то, что он не может

^[55] *Такелаж* – все снасти на судне, предназначенные для укрепления мачт и управления парусами.

^[56] *Скерцо* – музыкальная пьеса веселого характера, исполняемая в оживленном темпе.

^[57] *Адажио* – музыкальная пьеса или часть музыкального произведения в медленном темпе.

^[58] *Фортиссимо* – максимально громкое звучание в музыке.

представить внутреннюю Ассоль, так как даже не говорил с ней. Он читал где-то, что можно, хотя бы смутно, понять человека, если, вообразив себя этим человеком, скопировать выражение его лица. Уже глаза Грэй начали принимать несвойственное им странное выражение, а губы под усами складывались в слабую, кроткую улыбку, как, опомнившись, он расхохотался и вышел сменить Пантена.

Было темно. Пантен, подняв воротник куртки, ходил у компаса, говоря рулевому: «Лево четверть румба^[59], лево. Стой: еще четверть». «Секрет» шел с половиною парусов при попутном ветре.

– Знаете, – сказал Пантен Грэй, – я доволен.

– Чем?

– Тем же, чем и вы. Я все понял. Вот здесь, на мостике. – Он хитро подмигнул, светя улыбке огнем трубки.

– Ну-ка, – сказал Грэй, внезапно догадавшись, в чем дело, – что вы там поняли?

– Лучший способ провезти контрабанду, – шепнул Пантен. – Всякий может иметь такие паруса, какие хочет. У вас гениальная голова, Грэй!

– Бедный Пантен! – сказал капитан, не зная, сердиться или смеяться. – Ваша догадка остроумна, но лишена всякой основы. Идите спать. Даю вам слово, что вы ошибаетесь. Я делаю то, что сказал.

Он отослал его спать, сверился с направлением курса и сел. Теперь мы его оставим, так как ему нужно быть одному.

^[59] Румб – единица угловой меры, равная 1/32 доле окружности.

Глава VI

Ассоль остается одна

Лонгрен провел ночь в море; он не спал, не ловил, а шел под парусом без определенного направления, слушая плеск воды, смотря в тьму, обветриваясь и думая. В тяжелые часы жизни ничто так не восстанавливало силы его души, как эти одинокие блуждания. Тишина, только тишина и безлюдье – вот что нужно было ему для того, чтобы все самые слабые и спутанные голоса внутреннего мира зазвучали понятно. Эту ночь он думал о будущем, о бедности, об Ассоль. Ему было крайне трудно покинуть ее даже на время; кроме того, он боялся воскресить утихшую боль. Быть может, поступив на корабль, он снова вообразит, что там, в Каперне, его ждет не умиравший никогда друг, и, возвращаясь, он будет подходить к дому с горем мертвого ожидания. Мери никогда больше не выйдет из дверей дома. Но он хотел, чтобы у Ассоль было что есть, решив поэтому поступить так, как приказывает забота.

Когда Лонгрен вернулся, девушки еще не было дома. Ее ранние прогулки не смущали отца; на этот раз, однако, в его ожидании была легкая напряженность. Похаживая из угла в угол, он на повороте вдруг *сразу* увидел Ассоль; вошедшая стремительно и неслышно, она молча остановилась перед ним, почти испугав его светом взгляда, отразившего возбуждение. Казалось, открылось ее второе лицо – то истинное лицо человека, о котором обычно говорят только глаза. Она молчала, смотря в лицо Лонгрену так непонятно, что он быстро спросил:

– Ты больна?

Она не сразу ответила. Когда смысл вопроса коснулся наконец ее духовного слуха, Ассоль встрепенулась, как ветка, тронутая рукой, и засмеялась долгим, ровным смехом тихого торжества. Ей надо было сказать что-нибудь, но, как всегда, не требовалось придумывать – что именно. Она сказала:

– Нет, я здорова... Почему ты так смотришь? Мне весело. Верно, мне весело, но это оттого, что день так хорош. А что ты надумал? Я уж вижу по твоему лицу, что ты что-то надумал.

– Что бы я ни надумал, – сказал Лонгрен, усаживая девушку на колени, – ты, я знаю, поймешь, в чем дело. Жить нечем. Я не пойду снова в дальнее плавание, а поступлю на почтовый пароход, что ходит между Кассетом и Лиссом.

– Да, – издали сказала она, сиюсь войти в его заботы и дело, но ужасаясь, что бессильна перестать радоваться. – Это очень плохо. Мне будет скучно. Возвратись поскорей. – Говоря так, она расцветала неудержимой улыбкой. – Да, поскорей, милый, я жду.

– Ассоль! – сказал Лонгрен, беря ладонями ее лицо и поворачивая к себе. – Выкладывай, что случилось?

Она почувствовала, что должна выветрить его тревогу, и, победив ликование, сделалась серьезно-внимательной, только в ее глазах блестела еще новая жизнь.

– Ты странный, – сказала она. – Решительно ничего. Я собирала орехи.

Лонгрен не вполне поверил бы этому, не будь он так занят своими мыслями. Их разговор стал деловым и подробным. Матрос сказал дочери, чтобы она уложила его мешок, перечислил все необходимые вещи и дал несколько советов.

– Я вернусь домой дней через десять, а ты заложи мое ружье и сиди дома. Если кто захочет тебя обидеть, скажи: «Лонгрен скоро вернется». Не думай и не беспокойся обо мне, худого ничего не случится.

После этого он поел, крепко поцеловал девушку и, вскинув мешок за плечи, вышел на городскую дорогу. Ассоль смотрела ему вслед, пока он не скрылся за поворотом, затем вернулась. Немало домашних работ предстояло ей, но она забыла об этом. С интересом легкого удивления осматривалась она вокруг, как бы уже чужая *этому* дому, так влитому в созна-

ние с детства, что, казалось, всегда носила его в себе, а теперь выглядевшему подобно родным местам, посещенным спустя ряд лет из круга жизни иной. Но что-то недостойное почудилось ей в этом своем отпоре, что-то неладное. Она села к столу, на котором Лонгрен мастерил игрушки, и попыталась приклеить руль к корме; смотря на эти предметы, невольно увидела она их большими, настоящими; все, что случилось утром, снова поднялось в ней дрожью волнения, и золотое кольцо, величиной с солнце, упало через море к ее ногам.

Не усидев, она вышла из дома и пошла в Лисс. Ей совершенно нечего было там делать; она не знала, зачем идет, но не идти не могла. По дороге ей встретился пешеход, желавший разведать какое-то направление; она толково объяснила ему, что нужно, и тотчас же забыла об этом.

Всю длинную дорогу миновала она незаметно, как если бы несла птицу, поглотившую все ее нежное внимание. У города она немного развлеклась шумом, летевшим с его огромного круга, но он был не властен над ней, как раньше, когда, пугая и забывая, делал ее молчаливой трусихой. Она противостояла ему. Она медленно прошла кольцеобразный бульвар, пересекая синие тени деревьев, доверчиво и легко взглядывая на лица прохожих, ровной походкой, полной уверенности. Порода наблюдательных людей в течение дня замечала неоднократно неизвестную, странную на взгляд девушку, проходящую среди яркой толпы с видом глубокой задумчивости. На площади она подставила руку струе фонтана, перебирая пальцами среди отраженных брызг; затем, присев, отдохнула и вернулась на лесную дорогу. Обратный путь она сделала со свежей душой, в настроении мирном и ясном, подобно вечерней речке, сменившей наконец пестрые зеркала дня ровным в тени блеском. Приближаясь к селению, она увидела того самого угольщика, которому померещилось, что у него зацвела корзина; он стоял возле повозки с двумя неизвестными мрачными людьми, покрытыми сажей и грязью. Ассоль обрадовалась.

– Здравствуй, Филипп, – сказала она, – что ты здесь делаешь?

– Ничего, муха. Свалилось колесо, я его поправил, теперь покуриваю да калякаю с нашими ребятами. Ты откуда?

Ассоль не ответила.

– Знаешь, Филипп, – заговорила она, – я тебя очень люблю и потому скажу только тебе. Я скоро уеду; наверное, уеду совсем. Ты не говори никому об этом.

– Это *ты* хочешь уехать? Куда же ты собралась? – изумился угольщик, вопросительно раскрыв рот, отчего его борода стала длиннее.

– Не знаю. – Она медленно осмотрела поляну под вязом, где стояла телега, зеленую в розовом вечернем свете траву, черных молчаливых угольщиков и, подумав, прибавила: – Все это мне неизвестно. Я не знаю ни дня, ни часа и даже не знаю куда. Больше ничего не скажу. Поэтому на всякий случай – прощай; ты часто меня возил.

Она взяла огромную черную руку и привела ее в состояние относительного трясения. Лицо рабочего разверзло трещину неподвижной улыбки. Девушка кивнула, повернулась и отошла. Она исчезла так быстро, что Филипп и его приятели не успели повернуть голову.

– Чудеса, – сказал угольщик, – поди-ка пойми ее. Что-то с ней сегодня... такое и прочее.

– Верно, – поддержал второй, – не то она говорит, не то – уговаривает. Не наше дело.

– Не наше дело, – сказал и третий, вздохнув. Затем все трое сели в повозку и, затрещав колесами по каменистой дороге, скрылись в пыли.

Глава VII

Алый «секрет»

Был белый утренний час; в огромном лесу стоял тонкий пар, полный странных видений. Незнакомый охотник, только что покинувший свой костер, двигался вдоль реки; сквозь деревья сиял просвет ее воздушных пустот, но прилежный охотник не подходил к ним, рассматривая свежий след медведя, направляющийся к горам.

Внезапный звук пронесся среди деревьев с неожиданностью тревожной погони; это запел кларнет. Музыкант, выйдя на палубу, сыграл отрывок мелодии, полной печального, протяжного повторения. Звук дрожал, как голос, скрывающийся горе; усилился, улыбнулся грустным переливом и оборвался. Далекое эхо смутно напевало ту же мелодию.

Охотник, отметив след сломанной веткой, пробрался к воде. Туман еще не рассеялся; в нем гасли очертания огромного корабля, медленно повертывающегося к устью реки. Его свернутые паруса ожили, свисая фестонами, расправляясь и покрывая мачты бессильными щитами огромных складок; слышались голоса и шаги. Береговой ветер, пробуя дуть, лениво теребил паруса; наконец тепло солнца произвело нужный эффект; воздушный напор усилился, рассеял туман и вылился по реям в легкие алые формы, полные роз. Розовые тени скользили по белизне мачт и снастей, все было белым, кроме раскинутых, плавно двинутых парусов цвета глубокой радости.

Охотник, смотревший с берега, долго протирает глаза, пока не убедился, что видит именно так, а не иначе. Корабль скрылся за поворотом, а он все еще стоял и смотрел; затем, молча пожав плечами, отправился к своему медведю.

Пока «Секрет» шел руслом реки, Грэй стоял у штурвала, не доверяя руля матросу – он боялся мели. Пантен сидел рядом, в новой суконной паре, в новой блестящей фуражке, бритый и смиренно надутый. Он по-прежнему не чувствовал никакой связи между алым убранством и прямой целью Грэя.

– Теперь, – сказал Грэй, – когда мои паруса рдеют, ветер хорош, а в сердце моем больше счастья, чем у слона при виде небольшой булочки, я попытаюсь настроить вас своими мыслями, как обещал в Лиссе. Заметьте – я не считаю вас глупым или упрямым, нет; вы образцовый моряк, а это много стоит. Но вы, как и большинство, слушаете голоса всех нехитрых истин сквозь толстое стекло жизни; они кричат, но вы не услышите. Я делаю то, что существует как старинное представление о прекрасном несбыточном и что, по существу, так же сбыточно и возможно, как загородная прогулка. Скоро вы увидите девушку, которая не может, *не должна иначе* выйти замуж, как только таким способом, какой развиваю я на ваших глазах.

Он сжато передал моряку то, о чем мы хорошо знаем, закончив объяснение так:

– Вы видите, как тесно сплетены здесь судьба, воля и свойство характеров; я прихожу к той, которая ждет и может ждать только меня, я же не хочу никого другого, кроме нее, может быть, именно потому, что благодаря ей я понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать так называемые чудеса своими руками. Когда для человека главное – получать дражайший пятак, легко дать этот пятак, но когда душа таит зерно пламенного растения – чуда, сделай ему это чудо, если ты в состоянии. Новая душа будет у него и новая у тебя. Когда начальник тюрьмы сам выпустит заключенного, когда миллиардер подарит писцу виллу, опереточную певицу и сейф, а жокей хоть раз попридержит лошадь ради другого коня, которому не везет, – тогда все поймут, как это приятно, как невыразимо чудесно. Но есть не меньшие чудеса: улыбка, веселье, прощение и... вовремя сказанное, нужное слово. Владеть этим – значит владеть всем. Что до меня, то наше начало – мое и Ассоль – останется нам навсегда в алом отблеске парусов, созданных глубиной сердца, знающего, что такое любовь. Поняли вы меня?

– Да, капитан. – Пантен крикнул, вытерев усы аккуратно сложенным чистым платочком. – Я все понял. Вы меня тронули. Пойду я вниз и попрошу прощения у Никса, которого вчера ругал за потопленное ведро. И дам ему табаку – свой он проиграл в карты.

Прежде чем Грэй, несколько удивленный таким быстрым практическим результатом своих слов, успел что-либо сказать, Пантен уже загребел вниз по трапу и где-то отдаленно вздохнул. Грэй оглянулся, посмотрев вверх: над ним молча рвались алые паруса; солнце в их швах сияло пурпурным дымом. «Секрет» шел в море, удаляясь от берега. Не было никаких сомнений в звонкой душе Грэя – ни глухих ударов тревоги, ни шума мелких забот; спокойно, как парус, рвался он к восхитительной цели, полный тех мыслей, которые опережают слова.

К полудню на горизонте показался дымок военного крейсера, крейсер изменил курс и с расстояния полумили поднял сигнал «лечь в дрейф».

– Братцы, – сказал Грэй матросам, – нас не обстреляют, не бойтесь; они просто не верят своим глазам.

Он приказал дрейфовать. Пантен, крича как на пожаре, вывел «Секрет» из ветра; судно остановилось, между тем как от крейсера помчался паровой катер с командой и лейтенантом в белых перчатках; лейтенант, ступив на палубу корабля, изумленно оглянулся и прошел с Грэем в каюту, откуда через час отправился, странно махнув рукой и улыбаясь, словно получил чин, обратно к синему крейсеру. По-видимому, этот раз Грэй имел больше успеха, чем с простодушным Пантенем, так как крейсер, помедлив, ударил по горизонту могучим залпом салюта, стремительный дым которого, пробив воздух огромными сверкающими мячами, развеялся клочьями над тихой водой. Весь день на крейсере царил некое полупраздничное ошеломление; настроение было неслужебное, сбитое – под знаком любви, о которой говорили везде – от салона до машинного трюма, а часовой минного отделения спросил проходящего матроса: «Том, как ты женился?» – «Я поймал ее за юбку, когда она хотела выскочить от меня в окно», – сказал Том и гордо закрутил ус.

Некоторое время «Секрет» шел пустым морем, без берегов; к полудню открылся далекий берег. Взяв подзорную трубу, Грэй уставился на Каперну. Если бы не ряд крыш, он различил бы в окне одного дома Ассоль, сидящую за какой-то книгой. Она читала; по странице полз зеленоватый жучок, останавливаясь и приподнимаясь на передних лапах с видом независимым и домашним. Уже два раза был он без досады сдунут на подоконник, откуда появлялся вновь доверчиво и свободно, словно хотел что-то сказать. На этот раз ему удалось добраться почти к руке девушки, державшей угол страницы; здесь он застрял на слове «смотри», с сомнением остановился, ожидая нового шквала, и действительно едва избег неприятности, так как Ассоль уже воскликнула: «Опять жучишка... дурак!...» – и хотела решительно слудть гостя в траву, но вдруг случайный переход взгляда от одной крыши к другой открыл ей на синей морской щели уличного пространства белый корабль с алыми парусами.

Она вздрогнула, откинулась, замерла; потом резко вскочила с головокружительно падающим сердцем, вспыхнув неудержимыми слезами вдохновенного потрясения. «Секрет» в это время огибал небольшой мыс, держась к берегу углом левого борта; негромкая музыка лилась в голубом дне с белой палубы под огнем алого шелка; музыка ритмических переливов, переданных не совсем удачно известными всем словами: «Налейте, налейте бокалы – и выпьем, друзья, за любовь...» В ее просторе, ликуя, развевалось и рокотало волнение.

Не помня, как оставила дом, Ассоль бежала уже к морю, подхваченная неодолимым ветром события; на первом углу она остановилась почти без сил; ее ноги подкашивались, дыхание срывалось и гасло, сознание держалось на волоске. Вне себя от страха потерять волю, она топнула ногой и оправилась. Временами то крыша, то забор скрывали от нее алые паруса; тогда, боясь, не исчезли ли они, как простой призрак, она торопилась миновать мучительное препятствие и, снова увидев корабль, останавливалась облегченно вздохнуть.

Тем временем в Каперне произошло такое замешательство, такое волнение, такая поголовная смута, какие не уступят эффекту знаменитых землетрясений. Никогда еще большой корабль не подходил к этому берегу; у корабля были те самые паруса, имя которых звучало как издевательство; теперь они ясно и неопровержимо пылали с невинностью факта, опровергающего все законы бытия и здравого смысла. Мужчины, женщины, дети впопыхах мчались к берегу кто в чем был; жители перекликались со двора в двор, насакивали друг на друга, вопили и падали; скоро у воды образовалась толпа, и в эту толпу стремительно вбежала Ассоль.

Пока ее не было, ее имя перелетало среди людей с нервной и угрюмой тревогой, с злобным испугом. Больше говорили мужчины; сдавленно, змеиным шипением всхлипывали остолбеневшие женщины, но если уж которая начинала трещать – яд забирался в голову. Как только появилась Ассоль, все смолкли, все со страхом отошли от нее, и она осталась одна среди пустоты знойного песка, растерянная, пристыженная, счастливая, с лицом не менее алым, чем ее чудо, беспомощно протянув руки к высокому кораблю.

От него отделилась лодка, полная загорелых гребцов; среди них стоял тот, кого, как ей показалось теперь, она знала, смутно помнила с детства. Он смотрел на нее с улыбкой, которая грела и торопила. Но тысячи последних смешных страхов одолели Ассоль; смертельно боясь всего – ошибки, недоразумений, таинственной и вредной помехи, – она вбежала по пояс в теплое колыхание волн, крича:

– Я здесь, я здесь! Это я!

Тогда Циммер взмахнул смычком – и та же мелодия грянула по нервам толпы, но на этот раз полным, торжествующим хором. От волнения, движения облаков и волн, блеска воды и дали девушка почти не могла уже различать, что движется: она, корабль или лодка – все двигалось, кружилось и опадало.

Но весло резко плеснуло вблизи нее; она подняла голову. Грэй нагнулся, ее руки ухватились за его пояс. Ассоль зажмурилась; затем, быстро открыв глаза, смело улыбнулась его сияющему лицу и, запыхавшись, сказала:

– Совершенно такой.

– И ты тоже, дитя мое! – вынимая из воды мокрую драгоценность, сказал Грэй. – Вот, я пришел. Узнала ли ты меня?

Она кивнула, держась за его пояс, с новой душой и трепетно зажмуренными глазами. Счастье сидело в ней пушистым котенком. Когда Ассоль решила открыть глаза, покачиванье шлюпки, блеск волн, приближающийся, мощно ворочаясь, борт «Секрета» – все было сном, где свет и вода качались, кружась, подобно игре солнечных зайчиков на струящейся лучами стене. Не помня как, она поднялась по трапу в сильных руках Грэя. Палуба, крытая и увешанная коврами, в алых выплесках парусов, была как небесный сад. И скоро Ассоль увидела, что стоит в каюте – в комнате, которой лучше уже не может быть.

Тогда сверху, сотрясая и зарывая сердце в свой торжествующий крик, вновь кинулась огромная музыка. Опять Ассоль закрыла глаза, боясь, что все это исчезнет, если она будет смотреть. Грэй взял ее руки, и, зная уже теперь, куда можно безопасно идти, она спрятала мокрое от слез лицо на груди друга, пришедшего так волшебным. Бережно, но со смехом, сам потрясенный и удивленный тем, что наступила невыразимая, не доступная никому драгоценная минута, Грэй поднял за подбородок вверх это давно-давно пригрезившееся лицо, и глаза девушки наконец ясно раскрылись. В них было все лучшее человека.

– Ты возьмешь к нам моего Лонгрена? – сказала она.

– Да. – И так крепко поцеловал он ее вслед за своим железным «да», что она засмеялась.

Теперь мы отойдем от них, зная, что им нужно быть вместе одним. Много на свете слов на разных языках и разных наречиях, но всеми ими, даже и отдаленно, не передашь того, что сказали они в день этот друг другу.

Меж тем на палубе у грот-мачты, возле бочонка, изъеденного червем, с сбитым дном, открывшим столетнюю темную благодать, ждал уже весь экипаж. Атвуд стоял; Пантен чинно сидел, сияя, как новорожденный. Грэй поднялся вверх, дал знак оркестру и, сняв фуражку, первый зачерпнул граненым стаканом, в песне золотых труб, святое вино.

– Ну, вот... – сказал он, кончив пить, затем бросил стакан. – Теперь пейте, пейте все; кто не пьет, тот враг мне.

Повторить эти слова ему не пришлось. В то время как полным ходом, под всеми парусами уходил от ужаснувшейся навсегда Каперны «Секрет», давка вокруг бочонка превзошла все, что в этом роде происходит на великих праздниках.

– Как понравилось оно тебе? – спросил Грэй Летику.

– Капитан! – сказал, подыскивая слова, матрос. – Не знаю, понравился ли ему я, но впечатления мои нужно обдумать. Улей и сад!

– Что?!

– Я хочу сказать, что в мой рот впихнули улей и сад. Будьте счастливы, капитан. И пусть счастлива будет та, которую «лучшим грузом» я назову, лучшим призом «Секрета»!

Когда на другой день стало светать, корабль был далеко от Каперны. Часть экипажа как уснула, так и осталась лежать на палубе, поборотая вином Грэя; держались на ногах лишь рулевой, да вахтенный, да сидевший на корме с грифом виолончели у подбородка задумчивый и хмельной Циммер. Он сидел, тихо водил смычком, заставляя струны говорить волшебным, неземным голосом, и думал о счастье...

Блстающий мир

Это – там...
Свифт

Часть I Опрокинутая арена

Глава I

{60}

Семь дней пестрая суматоха афиш возвещала городским жителям о необыкновенном выступлении в цирке «Солейль» Человека Двойной Звезды; еще никогда не говорилось так много о вещах подобного рода в веселящихся гостиных, салонах, за кулисами театра, в ресторанах, пивных и кухнях. Действительно, цирковое искусство еще никогда не обещало так много, не залучало волнения в область любопытства, как теперь. Даже атлетическая борьба – любимое развлечение выродившихся духовных наследников Нерона^{61} и Гелиогабала^{62} – отошла на второй план, хотя уже приехали и гуляли напоказ по бульварам зверские туши Грепера и Нуара – негра из африканской Либерии^{63}, – раскуривая толстейшие регалии, на удивление и сердечный трепет зрелых, но пылких дам. Даже потускнел знаменитый силач-жонглер Мирэй, бросавший в воздух фейерверк светящихся гирь. Короче говоря, цирк «Солейль» обещал *истинно-небывалое*. Постояв с минуту перед афишей, мы полнее всяких примеров и сравнений усвоим впечатление, производимое ею на толпу. Что же там напечатано?

«В среду, – говорила афиша, – 23 июня 1913 г. состоится первое, единственное и последнее выступление ранее никогда нигде не выступавшего, поразительного, небывалого, исключительного феномена, именующего себя Человеком Двойной Звезды.

Не имеющий веса

Летающий бег

Чудесный полет

Настоящее парение в воздухе, которое будет исполнено без помощи скрытых механических средств и каких бы то ни было приспособлений.

Человек Двойной Звезды остается висеть в воздухе до трех секунд полного времени.

{60} Роман впервые издан в журнале «Красная нива», № 20–30, 1923.

{61} *Нерон* (37–68) – римский император с 54 г. Был жесток и развратен.

{62} *Гелиогабал* (204–222) – римский император с 218 г. Несмотря на юный возраст, также прославился жестокостью и развратностью; был убит взбунтовавшейся армией.

{63} *Либерия* – государство на западе Африки, созданное в 1847 г. выходцами из США – освобожденными рабами.

Человек Двойной Звезды – величайшая научная загадка нашего века.

Билеты, ввиду исключительности и неповторимости зрелища, будут продаваться с 19-го по день представления; цены утроены».

Агассиц, директор цирка «Солейль», дал журналистам следующие объяснения: несколько дней назад к нему пришел неизвестный человек; даже изощренный глаз такого пройдохи, как Агассиц, не выцарапал из краткого свидания с ним ничего, кладущего штамп. На визитной карточке посетителя стояло: Э. Д. – только; ни адреса, ни профессии...

Говоря так, Агассиц принял вид человека, которому известно гораздо более, чем о том можно подумать, но сдержанного в силу важных причин. Он сказал:

– Я видел, несомненно, образованного и богатого человека, чуждого цирковой среде. Я не делаю тайны из того, что наблюдал в нем, но... да, он – редкость даже и для меня, испытавшего за тридцать лет немало. У нас он не служит. Он ничего не требовал, ничего не просил. Я ничего не знаю о нем. Его адрес мне неизвестен. Не было смысла допытываться чего-либо в этом направлении, так как одно-единственное его выступление не связано ни с его прошлым, ни с личностью. Нам это не нужно. Однако «Солейль» стоит и будет стоять на высоте, поэтому я не мог выпустить такую редкую птицу. Он предложил больше, чем дал бы сам Барнум^[64], воскреснув и явившись сюда со всеми своими зверями.

Его предложение таково: он выступит перед публикой один раз; действительно *один* раз, ни больше ни меньше, – *без* гонорара, *без* угощения, *без* всякого иного вознаграждения. – Эти три «без» Агассица свистнули солидно и вкусно. – Я предлагал то и то, но он отказался.

По его просьбе я сел в углу, чтобы не помешать упражнению. Он отошел к двери, подмигнул таинственно и лукаво, а затем без прыжка, без всякого видимого усилия, плавно отделившись в воздух, двинулся через стол, задержавшись над ним – над этой вот самой чернильницей – не менее двух секунд, после чего неслышно, без сотрясения его ноги вновь коснулись земли. Это было так странно, что я вздрогнул, но он остался спокоен, как клоун Додди после того, как его повертит в зубах с трапеции Эрнст Вит. «Вот все, что я умею, – сказал он, когда мы уселись опять, – но это я повторю несколько раз, с разбега и с места. Возможно, что я буду в ударе. Тогда публика увидит больше. Но за это поручиться нельзя».

Я спросил, что он знает и думает о себе как о небывалом, дивном феномене. Он пожал плечами. «Об этом я знаю не больше вашего; вероятно, не больше того, что знают некоторые сочинители о своих сюжетах и темах: они являются. Так это является у меня». Более он не объяснил ничего. Я был потрясен. Я предложил ему миллион; он отказался и даже зевнул. Я не настаивал. Он отказался так решительно и бесспорно, что настойчивость равнялась бы унижению. Но, естественно, я спросил, какие причины заставляют его выступить публично. «Время от времени, – сказал он, – слабеет мой дар, если не оживлять его; он восстанавливается вполне, когда есть зрители моих упражнений. Вот единственное ядро, к которому я прикован». Но я ничего не понял; должно быть, он пошутил. Я вынес впечатление, что говорил с замечательным человеком, хранящим строжайшее инкогнито. Он молод, серьезен, как анатом, и великолепно одет. Он носит бриллиантовую булавку тысяч на триста. О всем этом стоит задуматься.

На другой же день утренние и вечерние газеты тиснули интервью с Агассицем; в одной газете появился даже импровизированный портрет странного гастролера. Усы и шевелюра портрета сделали бы честь любой волосорастительной рекламе. На читателя, выкатив глаза, смотрел свирепый красавец.

Между тем виновник всего этого смятения, пересмотрев газеты и вдоволь полюбовавшись интересным портретом, спросил: «Ну, Друд, ты будешь двадцать третьего в цирке?»

^[64] Барнум Финейс Тейлор (1810–1891) – знаменитый антрепренер, создатель американского цирка.

Сам отвечая себе, он прибавил: «Да. Я буду и посмотрю, как это сильное дуновение, этот удар вихря погасит маленькое косое пламя невежественного рассудка, которым чванится “царь природы”. И капли пота покроют его лицо...»

Глава II

Не менее публики подхвачена была волной острого интереса вся цирковая труппа, включая прислугу, билетеров и конюхов. Пошел слух, что Двойная Звезда (как приказал он обозначить себя в афише) – граф и миллиардер, и о нем вздыхали уже наездницы, глотая слюнки в мечтах ресторанным-ювелирного качества; уже пытали зеркало балерины, надеясь каждая увлечь сиятельного оригинала, и с пеной на губах спорили, которую из них купит он подороже. Клоуны придумывали, как смешить зрителя, пародируя новичка. Пьяница сочинитель Дебор уже смастерил им несколько диалогов, за что пил водку и бречал серебряной мелочью. Омраченные завистью гимнасты, вольтижеры^[65] и жонглеры твердили единым духом, до последнего момента, что таинственный гастролер – шарлатан из Индии, где научился действовать немного внушением, и предсказывали фиаско. Они же пытались распространить весть, что соперник их по арене – беглый преступник. Они же сочинили, что Двойная Звезда – карточный шулер, битый неоднократно. Им же принадлежала интересная повесть о шантаже, которым будто бы обезоружил он присмирившего Агассица. Но по существу дела никто не мог ничего сказать; дымная спираль сплетни вилась, не касаясь центра. Один лишь клоун Арси, любивший повторять: «Я знаю и видал все, поэтому ничему не удивляюсь», особенно подчеркивал свою фразу, когда поднимался разговор о Двойной Звезде; но на больном, желчном лице клоуна отражался тусклый испуг, что его бедную жизнь может поразить нечто, о чем он задумывается с волнением, утратив нищенский покой, добытый тяжким трудом гримас и ушибов.

Еще много всякого словесного сора – измышлений, болтовни, остроум, издевательств и предсказаний – застряло в ушах разных людей по поводу громкого выступления, но всего не подслушаешь. В столбе пыли за копытами коней Цезаря не важна отдельно каждая сущая пылинка; не так уж важен и отсвет луча, бегущего сквозь лиловые вихри за белым пятном золотого императорского шлема. Цезарь пылит... Пыль – и Цезарь.

Глава III

23-го окно цирковой кассы не открывалось. Надпись гласила: «Билеты проданы без остатка». Несмотря на высокую цену, их раскупили с быстротой треска; последним билетам, еще 20-го, была устроена лотерея, в силу того что они вызвали жестокий спор претендентов.

Пристальный взгляд, брошенный в этот вечер на места для зрителей, подметил бы несколько необычный состав публики. Так, ложа прессы была набита битком, за приставными стульями блестели пенсне и воротнички тех, кто был осужден стоя переминаться с ноги на ногу. Была также полна ложа министра. Там сиял нежный, прелестный мир красивых глаз и тонких лиц молодых женщин, белого шелка и драгоценностей, горящих, как люстры, на фоне мундиров и фраков; так лунный водопад в бархате черных теней струит и искрит стрелы свои. Все ложи, огибающие малиновый барьер цветистым кругом, дышали роскошью и сдержанностью нарядной толпы; легко, свободно смеясь, негромко, но отчетливо говоря, эти люди рассматривали противоположные стороны огромного цирка. Над ареной, блистая, реяла воздушная пустота, сомкнутая высоко вверху куполом с голубизной вечернего неба, смотрящего в открытые стеклянные люки.

^[65] Вольтижеры – акробаты на трапеции.

Выше кресел помещалась физиономическая пестрота интеллигенции, торговцев, чиновников и военных; мелькали знакомые по портретам черты писателей и художников; слышались замысловатая фраза, удачное замечание, изысканный литературный оборот, сплетни и семейные споры. Еще выше жалась на неразгороженных скамьях улица – непросеянная толпа: те, что бегут, шагают и проплывают тысячами пар ног. Над ними же, за высоким барьером, оклеенным цирковыми плакатами, на локтях, цыпочках, подбородках и грудях, придавленных теснотой, сжимаясь шестигранно, как сот, потели парии^[66] цирка – галерея; сисясь высвободить хотя на момент руки, они терпели пытку духоты и сердцебиения; более спокойными в этом месиве выглядели лица людей выше семи вершков. Здесь грызли орехи; треск скорлупы мешался со свистками и бесцеремонными окриками.

Освещение а гюгпо, возбуждающе яркий свет такой силы, что все, вблизи и вдали, было как бы наведено светлым лаком, погружало противоположную сторону в блестящий туман, где, однако, раз останавливался там взор, все виделось с отчетливостью бинокля – и лица и выражения. Цирк, залитый светом от укрепленных под потолком трапезий, от медных труб музыкантов, шелестящих нотами среди черных пюпитров, до свежих опилок, устилавших арену, был во власти электрических люстр, сеющих веселое упоение. Закрыв глаза, можно было по слуху намечать все точки пространства – скрип стула, кашель, сдержанный полутакт флейты, гул барабана, тихий, взволнованный разговор и шум, подобный шуму воды, – шелеста движений и дыхания десятитысячного человеческого заряда, внедренного разом в поперечный разрез круглого здания. Стоял острый запах тепла, конюшен, опилок и тонких духов – традиционный аромат цирка, родственный пестроте представления.

Начало задерживалось; нетерпение овладело публикой; по галереям несколько раз, вспыхивая неровным треском, перекатились аплодисменты. Но вот звякнул и затрепетал третий звонок. Бухнуло глухое серебро литавр, взвыл тромбон, выстрелил барабан; медь и струны в мелькающем свисте флейт понесли воинственный марш, и представление началось.

Глава IV

Для этого вечера дирекция выпустила лучшие силы цирка. Агассиц знал, что к вершине горы ведут крутые тропинки. Он постепенно накаливал душу зрителя, громоздя впечатление на впечатление, с расчетливым и строгим разнообразием; благодаря этому зритель должен был отдать весь скопленный жар души венчающему концу: в конце программы значился Двойная Звезда.

Арена ожила: гимнасты сменяли коней, кони – клоунов, клоуны – акробатов; жонглеры и фокусники следовали за укротителем львов. Два слона, обвязанные салфетками, чинно поужинали, сидя за накрытым столом, и, княжеским движением хобота бросив «на чай», катались на деревянных шарах. Задумчивое остоленение клоунов в момент неизбежного удара по затылку гуттаперчевой колбасой вызвало не одну мигрень слабых голов, заболевших от хохота. Еще клоуны почесывались и острили, как наездник с наездницей на белых астурийских конях вылетели и понеслись вокруг арены. То были Вакх^[67] и вакханка – в шкурах барса, венках и гирляндах роз; они, мчась с силой ветра, разыграли мимическую сцену балетного и акробатического характера, затем скрылись, оставив в воздухе блеск и трепет грациозно-шалых тел, одержимых живописным движением. После них, предшествуемые звуком трубы, вышли и расселись львы, ревом заглушая оркестр; человек в черном фраке, стреляя бичом, унизил их, как хотел; пена валилась из их пастей, но они вальсировали и прыгали в обруч. Четыре гимнаста,

^[66] *Пария* – бесправный, отверженный человек (слово произошло от индийского названия низшей касты «неприкасаемых»).

^[67] *Вакх* (в римской мифологии – Бахус) – в греческой мифологии одно из имен бога виноградарства Диониса; *вакханка* – спутница Вакха.

раскачиваясь под куполом, перебрасывались с одной трапеции на другую жуткими вольтами. Японец-фокусник вытащил из-за ворота трико тяжеловесную стеклянную вазу, полную воды и живых рыб. Жонглер доказал, что нет предметов, которыми нельзя было бы играть, подбрасывая их на воздух и ловя, как ласточка мух, без ушибов и промаха; семь зажженных ламп взлетали из его рук с легкостью фонтанной струи. Концом второго отделения был наездник Ришлей, скакавший на пяти рыжих белогривых лошадях и переходя, стоя, с одной на другую так просто, как мы пересаживаемся на стульях.

Звонок возвестил антракт; публика повалила в фойе, курительные, буфеты и конюшни. Служители прибирали арену. За эти пятнадцать минут племянница министра Руна Бегуэм, сидевшая в его ложе, основательно похоронила надежды капитана Галля, который, впрочем, не сказал ничего особенного. Он глухо заговорил о любви еще утром, но им помешали. Тогда Руна сказала «до свиданья» – с весьма вразумительным холодом выражения, но ослепшее сердце Галля не поняло ее ровного, спокойного взгляда; теперь, пользуясь тем, что на них не смотрят, он взял опущенную руку девушки и тихо пожал ее. Руна, бестрепетно отняв руку, повернулась к нему, уткнув подбородок в бархат кресла. Легкая, светлая усмешка легла меж ее бровей прелестной морщинкой, и взгляд сказал – нет.

Галль сильно похудел в последние дни. Его левое веко нервно подергивалось. Он оставил на Руне такой долгий, отчаянный и пытливый взгляд, что она немного смягчилась.

– Галль, все проходит! Вы – человек сильный. Мне искренно жаль, что это случилось с вами, что причиной вашего горя – я.

– Только вы и могли быть, – сказал Галль, ничего не видя, кроме нее. – Я вне себя. Хуже всего то, что вы еще не любили.

– Как?!

– Эта страна вашей души не тронута. В противном случае воспоминание чувства, может быть, сдвинуло бы ваше сердце с мертвой точки.

– Не знаю. Но хорошо, что наш разговор переходит в область соображений. К этому я прибавлю, что смотрела бы как на несчастье на любовь, если поразит она меня *без судьбы*.

Руна покойно обвела взглядом ряд лож, точно желая выяснить, не таится ли уже теперь где-нибудь это несчастье среди пристальных взглядов мужчин; но восхищение так надоело ей, что она относилась к нему с презрительной рассеянностью богача, берущего сдачу медью.

– Любовь и судьба – одно... – Галль помолчал. – Или... что вы хотите сказать?

– Я подразумеваю исключительную судьбу, Галль. Знаю, – Руна скорбно двинула обнаженным плечом, – что такой судьбы я... недостойна. – Высокомерие этого слова скрылось в бесподобной улыбке. – Но я все же хочу, чтобы эта судьба была *особенная*.

Галль понял по-своему ее горделивую мечту.

– Конечно, я вам не пара, – сказал он с искренней обидой и с не менее искренним восторгом. – Вы достойны быть королевой. Я – обыкновенный человек. Однако нет вещи, над которой я задумался бы, прикажи вы мне исполнить ее.

Руна повела бровью, но улыбнулась. Сильная любовь возбуждала в ней религиозное умиление. Когда Галль не понял ее, она захотела подвинуть его ближе к своей душе. Так добрые люди любят, посетовав нищему о его горькой доле, заняться анализом своих ощущений на тему: «добрый ли я человек»? А нищему все равно.

– Для королевы я, пожалуй, умнее, чем надо быть умной в ее сане, – сказала Руна. – Я ведь знаю людей. Должна вас изумить. Та судьба, с какой могла бы я встретиться, не смотря на нее вниз, – едва ли возможна. Вероятно, нет. Я очень тщеславна. Все, что я думаю о том, смутно и ослепительно. Вы знаете, как иногда действует музыка... Мне хочется жить как бы в несмолкающих звуках торжественной, всю меня перерождающей музыки. Я хочу, чтобы внутреннее волнующее блаженство было осмыслено властью, не знающей ни предела, ни колебаний.

Эту маленькую, беззастенчивую исповедь Руна произнесла с грациозной простотой молодой матери, нашептывающей засыпающему ребенку сны властелинов.

– Экстаз?

– Я не знаю. Но слова заключают больше, чем о том думают люди, жалеющие о немощи слов. Довольно, а то вы измените мнение обо мне в дурную сторону.

– Я не меняю мнений, не меняю привязанностей, – сказал Галль и, видя, что Руна задумалась, стал молча смотреть на ее легкий профиль, собирая для полноты впечатления все, что о ней знал. Десяти лет она написала замечательные стихи. Семнадцатый и восемнадцатый годы она провела в кругосветном плавании, и ее экзотические рисунки были проданы с большой выставки по дорогой цене, в пользу слепых. Она не искала популярности этого рода – не любила ее. Она великолепно играла; ей по очереди пророчили то ту, то другую славу – она славы не добивалась. В ее огромном доме можно было переходить из помещения в помещение с нарастающим чувством власти денег, одухотворенной художественной и разносторонней душой. Независимая и одинокая, она проходила жизнь в душевном молчании, без привязанностей и любви, понимая лишь инстинктом, но не опытом, что дает это, еще не испытанное ею чувство. Она знала все европейские языки, изучала астрономию, электротехнику, архитектуру и садоводство, спала мало, редко выезжала и еще реже устраивала приемы.

Этот невозмутимый, холодный мир был заключен в совершенную оболочку. По мягкости линий и выражения ее лицо было лицом блондинки, но под сверкающей волной черных волос давало непостижимое сочетание зноя и нежности. Ее вполне женственная, без впечатления хрупкости, фигура веяла свежестью и весельем ясного тела. Она была чуть ниже Галля; он же при среднем росте казался выше благодаря эполетам.

Галль – интеллигентный воин с немного расплывчатым лицом и меланхолическими глазами доброго человека, которым пытался иногда придать высокомерное выражение, – передумав о Руне Бегуэме все, что пришло на мысль, обратился внутренний взгляд к себе, но, не найдя там ничего особенного, кроме здоровья, любви, службы и аккуратных привычек, почувствовал печаль смирения. Ему не следовало говорить о любви. Все же в момент третьего звонка, как бы дернутый его трелью за язык, он успел сказать: «Я желаю вам счастья...» Конец фразы: «...Если бы – со мной...» – застрял в его горле. Он разгладил усы и приготовился смотреть представление.

Глава V

Последний перед выходом Двойной Звезды номер назывался «Бессилие оков». Он состоял в том, что широкоплечего, низкорослого человека связали по рукам и ногам толстыми веревками, опутали проволокой; сверх того опоясали кандалами руки и ноги. Затем его накрыли простыней; он повозился под ней минуты две и встал совершенно распутанный; узы валялись на песке.

Он ушел. Наступила глубокая, острая тишина. Музыка заиграла и смолкла. Цирк неслышно дышал. Заразительное ожидание проникло из души в душу, напрягая чувства; взгляды, направленные к выходной занавеси, молча вызвали обещанное явление. Музыканты перелистывали ноты. Прошло минут пять; нетерпение усиливалось. Верхи, потрепав вразброд, разразились залпами рукоплесканий протеста; середина поддержала их; низы беседовали, трепетали веерами, улыбались.

Тогда, вновь заставив стихнуть шум нетерпения, у выхода появился человек среднего роста, прямой, как пламя свечи, с естественной и простой манерой; задержавшись на мгновение, он вышел к середине арены, ступая мягко и ровно; остановившись, он огляделся с улыбкой, обвел взглядом сверкающую впадину цирка и поднял голову, обращаясь к оркестру.

– Сыграйте, – сказал он, подумав, негромко, но так внятно, что слова ясно прозвучали для всех, – сыграйте что-нибудь медленное и плавное, например «Мексиканский вальс»^[68].

Капельмейстер кивнул, постучал и взмахнул палочкой.

Трубы зарокотали вступление: кружась, ветер мелодии охватил сердца пленом и мерой ритма; звон, трели и пение рассеяли непостижимую магию звука, в которой праздничнее сверкает жизнь и что-то прощается внутри, насыщая все чувства.

Двойная Звезда – каким являлся он взгляду зрителей в эту минуту – был человек лет тридцати. Его одежда состояла из белой рубашки, с перетянутыми у кистей рукавами, черных панталон, синих чулок и черных сандалий; широкий серебряный пояс обнимал талию. Светлый, как купол, лоб нисходил к темным глазам чертой тонких и высоких бровей, придававших его резкому лицу выражение высокомерной ясности старинных портретов; на этом бледном лице, полном спокойной власти, меж тенью темных усов и щелью твердого подбородка презрительно кривился маленький строгий рот. Улыбка, с которой он вышел, была двусмысленна, хотя не лишена равновесия, и полна скрытого обещания. Его волосы бобрового цвета слабо вились под затылком, в углублении шеи, спереди же чуть-чуть спускались на лоб; руки были малы, плечи слегка откинута.

Он отошел к барьеру, притопнул и не спеша побежал, с прижатыми к груди локтями; так он обогнул всю арену, не совершив ничего особенного. Но со второго круга раздались возгласы: «Смотрите, смотрите». Оба главных прохода набились зрителями: высыпали все служащие и артисты. Шаги бегущего исказились, уже двигался он гигантскими прыжками, без видимых для того усилий; его ноги, легко трогая землю, казалось, не поспевают за неудержимым стремлением тела; уже несколько раз он в течение прыжка просто перебирал ими в воздухе, как бы отталкивая пустоту. Так мчался он, совершив круг, затем, пробежав обыкновенным манером некоторое расстояние, резко поднялся вверх на высоту роста и замер, остановился в воздухе, как на незримом столбе. Он пробыл в таком положении лишь едва дольше естественной задержки падения – на пустяки, может быть треть секунды, – но на весах общего внимания это отозвалось падением тяжелой гири против золотника – так необычно метнулось пред всеми загадочное явление. Но не холод, не жар восторга вызвало оно, а смуту тайного возбуждения: вошло нечто из-за пределов существа человеческого. Многие повскакали; те, кто не уследил, в чем дело, кричали среди поднявшегося шума соседям, спрашивая, что случилось. Чувства уже были поражены, но еще не сбиты, не опрокинуты; зрители перекидывались замечаниями. Балетный критик Фогард сказал: «Вот монстр элевации; с времен Агнессы Дюпорт не было ничего подобного. Но в балете, среди фейерверка иных движений, она не так поразительна». В другом месте можно было подслушать: «Я видел прыжки негров в Уганде^[69]; им далеко...», «Факирство, гипноз!» «Нет! Это делается с помощью зеркал и световых эффектов», – возгласило некое компетентное лицо.

Меж тем, отдыхая или раздумывая, по арене прежним неторопливым темпом бежал Двойная Звезда, сея тревожные ожидания, разрастающиеся неудержимо. Чего ждал взволнованный зритель? Никто не мог ответить себе на это, но каждый был как бы схвачен невидимыми руками, не зная, отпустят или сбросят они его, бледнеющего в непонятной тоске. Так чувствовали, как признавались впоследствии, даже мании сильных ощущений, люди испытанного хладнокровия. Уже несколько раз среди дам взлетало высокое «ах!», с оттенком более серьезным, чем те, какими окрашивают это универсальное восклицание. Верхи, ничего не понимая, голосили «браво» и набивали ладони. Тем временем в толпе цирковых артистов,

^[68] *Мексиканский вальс* – популярный в свое время вальс «Над волнами» мексиканского композитора Х. Росаса (1868–1894); звучал, в частности, в знаменитом спектакле «Вишневый сад» Московского Художественного театра.

^[69] *Уганда* – область в Восточной Африке, независимая республика с 1962 г.

запрудивших выход, произошло движение; эти много видавшие люди были поражены не менее зрителей.

Прошло уже около десяти минут, как Двойная Звезда выступил на арену. Теперь он увеличил скорость, делая, по-видимому, разбег. Его лицо разгорелось, глаза смеялись. И вдруг ликующий детский крик звонко разлетелся по цирку: «Мама, мама! Он летит... Смотри, он не задевает ногами!»

Все взгляды разом упали на только теперь замеченное. Как пелена спала с них; обман мерного движения ног исчез. Двойная Звезда неслась по воздуху на фут от земли, поднимаясь все круче и выше.

Тогда внезапно за некой неуловимой чертой, через которую, перескочив и струсив, замесалось подкошенное внимание, – зрелище вышло из пределов фокуса, став чудом, то есть тем, чего втайне ожидаем мы всю жизнь, но, когда оно наконец блеснет, готовы закричать или спрятаться. Покинув арену, Друд всплыл в воздухе к люстрам, обернув руками затылок. Мгновенно вся воображаемая тяжесть его тела передалась внутреннему усилию зрителей, но так же быстро исчезла, и все увидели, что выше галерей, под трапециями, мчится, закинув голову, человек, пересекая время от времени круглое верхнее пространство с плавной быстротой птицы, – теперь он был страшен. И его тень, ныряя по рядам, металась вниз.

Смятенный оркестр смолк; одинокий гобой взвыл фальшивой нотой и как подстреленный оборвал медный крик.

Вопли «Пожар!» не сделали бы того, что поднялось в цирке. Галерея завывала; крики «Сатана! Дьявол!» подхлестывали волну паники; повальное безумие овладело людьми; не стало публики: она, потеряв связь, превратилась в дикое скопище, по головам которого, сорвавшись с мощных цепей рассудка, бешено гудя и скаля зубы, скакал Страх. Многие в припадке внезапной слабости или головокружения сидели, закрыв руками лицо. Женщины теряли сознание; иные, задыхаясь, рвались к выходам; дети рыдали. Всюду слышался треск балюстрад. Беглецы, запрудив арену, сталкивались у выходов, сбивая друг друга с ног, хватая и отталкивая передних. Иногда резкий визг покрывал весь этот крошечный гвалт; слышались стоны, ругательства, грохот опрокинутых кресел. А над цирком выше трапещий и блоков, скрестив руки, стоял в воздухе Двойная Звезда.

– Оркестр, музыку!! – кричал Агассиц, едва сознавая, что делает.

Несколько труб взвыло предсмертным воплем, который быстро утих; затрещали поваленные пюпитры; эстрада опустела; музыканты, бросив инструменты, бежали, как все. В это время министр Дауговет, тяжело потирая костлявые руки и сдвинув седину бровей, тихо сказал двум быстро вошедшим к нему в ложу, прилично, но незначительно одетым людям: «Теперь же. Без колебания. Я беру на себя. Ночью лично ко мне с докладом, и никому больше ни слова!»

Оба неизвестных без поклона выбежали и смешались с толпой.

Тогда Друд сверху громко запел. Среди неистовства его голос прозвучал с силой порыва ветра; это была короткая, неизвестная песня. Лишь несколько слов ее было схвачено несколькими людьми: «Тот путь без дороги...» Каданс^[70] пропал в гуле, но можно было думать, что есть еще три стопы, с мужской рифмой в отчетливом слове «клир». Снова было не разобрать слов, пока на паузе гула они не окончились загадочным и протяжным: «...Зовущий в блестящий мир».

От ложи министра на арену выступила девушка в платье из белых шелковых струй. Бледная, вне себя, она подняла руки и крикнула. Никто не расслышал ее слов. Она нервно смеялась. Ее глаза, блестя, неслись вверх. Она ничего не видела, не понимала и не чувствовала, кроме светлой бездны, вспыхнувшей на развалинах этого дня чудным огнем.

^[70] *Каданс* – музыкальное заключение, основанное на известной последовательности аккордов.

Галль подошел к ней, взял за руку и увел. Вся дрожа, она повиновалась ему почти бессознательно. Это была Руна Бегуэм.

Глава VI

Когда, вновь коснувшись земли, Двойная Звезда стремительно направился к выходу, паника в проходе усилилась. Все, кто мог бежать, скрыться, исчезли с его пути. Многие попадали в давке; и он беспрепятственно достиг кулис, взял там шляпу и пальто, а затем вышел через конюшни в аллею бульвара.

Он укрыв лицо шарфом и исчез влево, на свет уличных фонарей. Едва он отошел, как несколько беспощадных ударов обрушилось на его плечи и голову; в луче фонаря блеснул нож. Он повернулся; острие увязло в одежде. Стараясь освободить левую руку, за которую ухватились двое, правой он сжал чье-то лицо и резко оттолкнул нападающего; затем быстро взвился вверх. Две руки отцепились; две другие повисли на его локте с остервенением разъяренного бульдога. Рука Друда немела. Поднявшись над крышами, он увидел ночную иллюминацию улиц и остановился. Все это было делом одной минуты. Склонившись, с отвращением рассмотрел он сведенное ужасом лицо агента; тот, поджав ноги, висел на нем в борьбе с обмороком, но обморок через мгновение поразил его. Друд вырвал руку; тело понеслось вниз; затем из глубины, заваленной треском колес, вылетел глухой стук.

– Вот он умер, – сказал Друд, – погибла жизнь и, без сомнения, великолепная награда. Меня хотели убить.

У него было предчувствие, и оно не обмануло его. Он ждал дня выступления с улыбкой и грустью – безотчетной грустью горца, вззирающего с вершины на обширные туманы низин, куда не долетит звук. И если он улыбался, то лишь приятным, невозможным вещам – чему-то вроде восхищенного хора, пытающего, теребя и увлекая его в круг радостно засиявших лиц: и что там, в том мире, где он плывет и дышит свободно? И нельзя ли туда сопутствовать, закрыв от страха глаза?

Друд несся над городскими огнями в гневе и торжестве. Медля возвращаться домой, размышлял он о нападении. Змея бросилась на орла. Вместе с тем он сознавал, что опасен. Его постараются уничтожить или, если в том не успеют, окружат его жизненный путь вечной опасностью. Его цели непостижимы. Помимо того, самое его существование – абсурд, явление нетерпимое. Есть положения, ясные без их логического развития: Венера Милосская^[71] в бакалейной лавке, сундук с шаровидными молниями, отправленный по железной дороге; взрывы на расстоянии. Он вспомнил цирк – так ясно, что в воздухе, казалось, снова блеснул свет, при котором разыгрались во всем их безобразии сцены темного исступления. Единственным утешением были поднятые вверх с криком победы руки неизвестной женщины; и он вспомнил стадо домашних гусей, гогочущих, завидя диких своих братьев, летящих под облаками; один гусь, вытянув шею и судорожно хлеща крыльями, запросился тоже наверх, но жир удержал его.

Приблизился свист перьев; ночная птица ударилась в грудь, забилась у лица и, издав стон ужаса, взмыла, сгинув во тьме. Друд миновал черту города. Над гаванью он пересек луч прожектора, соображая, что теперь, верно, будут протирать зеркало или глаза, думая, не померещился ли на фоне береговых скал человеческий силуэт. Действительно, в крепости что-то произошло, так как луч начал кроить тьму по всем направлениям, попадая главным образом в облака. Друд повернул обратно, развлекаясь обычной игрой; он населил по дороге свой путь воздушными ладьями, откуда слышался шепот влюбленных пар; они скользили к серпу луны, в его серебряную кисейку, бросающую на ковры и цветы свою тонкую белизну. Их кормчие,

^[71] Венера Милосская – древнегреческая статуя середины II в. до н. э., изображающая богиню любви Афродиту (в римской мифологии – Венеру), найденная на острове Мелос; считается эталоном женской красоты. Хранится в Лувре.

веселые, маленькие духи воздуха, завернув крылья под мышку, тянули парус. Он слышал смех и перебор струн. Еще выше лежала торжественная пустота, откуда из-за мириадом миль протягивались в прищуренный глаз иглы звездных лучей; по ним, как школьники, скатывающиеся с перил лестницы, сновали пузатенькие арапы, толкаясь, гримасничая и опрокидываясь, подобно мартышкам. Все звуки, подымающиеся с земли, имели физическое отражение; высоко летели кони, влача призрачную карету, набитую веселой компанией; дым сигар мутил звездный луч; возница, махая бичом, ловил слетевший цилиндр. В стороне скользили освещенные окна трамвая, за которыми господин читал газету, а франт сосал тросточку, косясь на милое лицо соседки. Тут и там свешивались балконы, прорезанные светом дверей, укрытых зеленью, позволяющей видеть кончик туфли или опасный блеск глаз, мерцающих, как в засаде. Бежал воздушный газетчик, размахивая пачкой газет; кошка стремглав перелезла по невидимым крышам, и гуляющие останавливались над городом, раскланиваясь в теплую тьму.

Как только Друд устал, эта игра рассеялась, подобно стае комаров, если по ней хватил дождь. Он присел на фронтон башенных часов, которые снизу казались озаренным кружком в тарелку величиной, вблизи же являли двухсаженную амбразуру, заделанную стеклом толщиной дюйма в три, с аршинными железными цифрами. За стеклом, гремя, двигались шестерни, колеса и цепи; в углу, попивая кофе, сидел машинист, с грязной полосой поперек небритой щеки; среди инструментов, свертков пакли и жестянок с маслом дымилась печка, на которой кипел кофейник. На оси снаружи стекла две огромные стрелы указывали десять минут второго. Ось дрогнула, минутная стрелка заскрипела и свалилась на фут ниже, отметив одиннадцатую минуту. По карнизам жались в ряды сонные голуби, гуркая и скрипя клювом. Друд зевнул. Цирк и нападение утомили его. Он дождался, когда часовые колокола, отмечая четверть второго, вызвонили такт старинной мелодии, и устремился к гостинице, где временно жил.

Глава VII

Тщетно искали горожане на другой день в страницах газет описания загадочного события; сила, действующая с незапамятных времен пером и угрозой, разослала в редакции секретный циркуляр, предписывающий «забыть» необыкновенное происшествие; упоминать о нем запрещалось под страхом закрытия; никаких объяснений не было дано по этому поводу, и редакторы возвратили авторам длиннейшие статьи – плоды бессонной ночи, – украшенные самыми заманчивыми заголовками.

Меж тем слухи достигли такого размаха, приняли такие размеры и очертания, при каких исчезал уже самый смысл происшествия, подобно тому как гигантской, но бесформенной становится тень человека, вплотную подошедшего к фонарю. Очевидцы разнесли свои впечатления по всем закоулкам, и каждый передавал так, что остальным было бы о чем с ним поспорить, – лучшее доказательство своеобразия в восприятии. В деле Друда творчество масс, о котором ныне, слышно, чрезвычайно хлопочут, проявилось с безудержностью истерического припадка. Правда, мелкотравчатый скептицизм образованной части населения пустил тонкое «но», в глубокомысленной бессмысленности которого уху, настроенному соответственно, слышалось множество остроумнейших изъяснений. На это «но», как на шпульку, наматывалась пестрая нить ходячей энциклопедии. Кто приводил гипнотизм, факирство, кто чудеса техники; ссылались и на старинных фокусников, творивших непостижимые чудеса с продувной машинкой в подкладке. Не были забыты ни синемаграф, ни волшебный фонарь, ни знаменитые автоматы: механический человек Вебера^[72] обыгрывал искуснейших шахматистов своего времени. В силу того что всякое событие подобно шару, покрытому сложным рисунком, очевидцы

^[72] *Механический человек Вебера* – здесь писатель ошибается: механического игрока в шахматы изготовил венгерский механик В. фон Кемпелен (1734–1804); только в 1834 г. был раскрыт секрет «автомата»: внутри него скрывался человек. Машина хранилась в Китайском музее в Филадельфии (США), где погибла при пожаре в 1854 г.

противоречили друг другу, не совпадая в описании происшествия, так как каждый видел лишь обращенную к нему часть шара со сверхсметной прибавкой фантазии или же, желая поразить сухой точностью, отнимал подробности; таким образом, сама очевидность стала наполовину спорной. Однако «глас Божий», то есть вести с конюшен и галерей, праздновал богатый пир, украшаясь всем, что есть вздорного в человеке, когда захочет он небылиц и сам стряпает их. Эти вести создали легенду о черте, выехавшем на белом коне; по точным справкам других, дьявол похитил девочку и улел с нею в окно; третьи добавляли, что малютка превратилась в старуху страшного вида. Наперерез этой диковине всплыл слух об ангелах, запевших над головой публики о конце мира, но более склонялись все к объяснению, данному буфетчиком «Ниагары», что приезжий грек изобрел летательную машинку, которую можно держать в кармане; грек вылетел из цирка на улицу и упал, потому что в машинке сломался винт. Венцом всей путаницы было потрясающее известие о посещении цирка стаей летающих мертвецов, которые пили, ели, а затем принялись безобразить, срывая с зрителей шляпы и выкрикивая на неизвестном языке умопомрачительные слова.

Малый очаг такого кипения слухов представляла утром 24-го числа кухня гостиницы «Рим», в девятом часу. Здесь за столом, посреди которого валил пар огромной сковороды с бараниной, лакей и повар вели жаркий спор; их слушали горничные и кухарка; повара, гри-масничая и наделая у плиты друг друга щелчками, успевали в то же время слушать беседу. Лакей хотя и не попал в цирк за отсутствием билетов, но весь вечер протолкался у входа среди несчастливцев, тщетно надеявшихся умиловить контролера сигарой или проскочить, уловив момент, внутрь.

– Вздор! – сказал повар, выслушав описание повального бегства зрителей. – Хотя бы видел ты собственными глазами, чего, как говоришь сам, не было.

– Легко сказать «вздор», – возразил лакей, – тверди «вздор», что бы ты ни услышал. Противно с тобой говорить... Если думают, что я лгу, пусть имеют храбрость сказать мне это прямо в лицо.

– А что тогда будет? – воинственно спросил повар. – Прямо в лицо?! Вот я тебе прямо в лицо и говорю, что ты врешь.

– Я? Вру?

– Ну, не врешь, так сочиняешь, это одно и то же, а если хочешь знать правду, то я тебе объясню: все произошло оттого, что обрушились столбы. Этого я, разумеется, не видел, но думаю, что хватит и такой безделицы. Галереи ведь на столбах, не так ли? А раз зрителей набилось туда втрое больше, чем полагается, подпорки и подломились.

– При чем тут подпорки, – возразил, вспотев от отчаяния, лакей, – когда побежала полная улица народа, двери трещали и я сам слышал крики. Кроме того, я многих расспрашивал; кажется, ясно.

– Вздор! – сказал повар. – Как обломают тебе ноги, так закричишь сам не зная что. Бывает, что с испугу человек сходит с ума и начинает нести всякую чепуху.

– Уж всем известно, что вы неверующий, – заголосила горничная в то время, как ее подруга с кухаркой, разинув рты, трепетали в припадке острого любопытства, – а я еще маленькая видела такую вещь, что попросите меня рассказать о том на ночь, я ни за что не решусь. Приходит к нам человек – дело было ночью – и просится ночевать...

– И я хорошо помню, – перебил лакей, – как вышел из двери солидный, вежливый господин. «Что там произошло?» – спросил я его и вижу, что он сильно взволнован. Он мне сказал: «Не ищите суетных развлечений. Я видел, как в человека вселился демон и поднял его на воздух. Молитесь, молитесь!» И он ушел, этак помахивая рукой. Я вам говорю, в одной этой его руке была масса выражения!

Повар не успел произнести «Вздор!», как горничная, опасаясь, что ее рассказ потонет в ожесточении спорщиков, взяла тоном выше и заговорила быстрее:

– Вы слышите? Я сказала, что тот человек попросился к нам ночевать; отец поворчал, но пустил, а на другой день мать говорила ему: «Что, разве не была я права?» Она не хотела, чтобы его пустили. Что же вышло? У нас в доме была пустая комната, в которой никто не жил; туда сваливали обыкновенно овощи; там же отец держал токарный станок. В эту комнату уложили мы спать нашего странника. Я его как сейчас вижу: высокий, толстый, седой, а лицо гладкое и такое розовое, как вот у Бетси или у меня, когда меня не раздражают ничем. Хотя я была маленькая, но ясно видела, что в старике есть что-то подозрительное. Когда он убрался спать, я подкралась к двери, заглянула в замочную скважину и... вы можете представить, что я увидела?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания